

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

РОМАН*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иван Градобоев набирал полную грудь студёного воздуха. Накалял вздох своей огненной яростью. Жарко выдыхал в микрофон. Железный звук летел над Болотной площадью, рассекая, вспарывая, вырывая из толпы вопли страдания и ненависти. Градобоев жадно глотал эту ответную ярость,пил пьянящий настой. Делал вздох, поднимая высокие плечи, сливая свою огненную силу с гулом и рёвом толпы. Направлял грохочущие слова в чёрное колыханье площади.

— Чегоданов вор! Царь воров! Он украл нашу нефть и газ! Наш лес и алмазы! Превратил Россию в пиратское королевство, которым управляют бандиты и хриstopродавцы! Он украл нашу свободу, подсовывая на выборах фальшивые бюллетени, где вписано его ненавистное имя! В пятый, десятый, двадцатый раз он будет назначать себя президентом, пока от России, как от мёртвой рыбы, не останется обглоданный Уральский хребет! Пусть Чегоданов покажет свои счета в американских и швейцарских банках, в банках Гонконга и Сингапура, в офшорных банках Кипра и Каймановых островов! Пусть скажет, какая доля принадлежит ему в газовых и нефтяных компа-

* Журнальный вариант.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсера соната”, “Человек звезды”. Живет в Москве.

ниях, какие отчисления идут ему от торговли оружием, сколько платят ему губернаторы, получая ярлыки на кормление! Пусть расскажет, кто взорвал дома в Москве, кто убил и продолжает убивать неподкупных журналистов! Люди, хотим ли мы жить в обезьяннике, в который превращают Россию?

Градобоев метал в толпу тяжкие, как булыжники, слова, и они оставляли вмятины. Толпа стонала от боли, содрогалась от страшных слов. Глухо ревели в ответ:

— Нет Чегоданову! Вор не пройдёт! Градобоев — наш президент!

Градобоев чувствовал могучую слепую силу толпы, которая колыхалась, как чёрный вар в накалённом котле. Его слова, как языки пламени, лизали стены котла, и толпа вскипала липкими пузырями, чавкала, чмокала, одевалась туманом, в котором мутно белели лица, струились флаги, качались транспаранты. Кинотеатр “Ударник” в вечернем воздухе начинал ртутно светиться. Вода в канале крутила золотые отражения фонарей. Мостик через канал был облеплен людьми.

Градобоев любил толпу. Страшился её. Чувствовал её непредсказуемый нрав. Её вероломство, её ненасытность. Повелевал ею, навязывал свою волю и был в её власти. Как сказочный царевич, питал её своей плотью, кидал ей в пасть сочные, вырезанные из тела ломти, боясь, что зверь с окровавленными ноздрями кинется на него и сожрёт. И в этом было упоение, несравненная сладость, неутолимое сладострастие.

— Чегоданов думает, что мы насекомые, лишённые смысла и воли! Мыши, поедающие крохи с его барского стола! Но мы не мыши, мы птицы! Несём весть о Русской Весне! Мы вольные граждане великой страны, которая сбросит с себя иго жуликов и воров! Иго временщиков и захватчиков! Нет Чегоданову!

Он водел по толпе огромным плугом, прокладывая борозды, выворачивал пласты. Чернозём шевелился, дышал. Градобоев вспарывал его отточенной сталью, сеял семена своей ненависти и любви.

— Градобоев! Градобоев! — рывкала и лязгала толпа.

Он отступил от микрофона в глубину эстрады, оставляя после себя пустоту, в которую площадь тянула тысячи рук, требовала его обратно, жадно шарила в сумерках. Градобоев, задыхаясь, слушал восторженных референтов, отвечал на торопливые вопросы журналистов, поворачивался навстречу спящим вспыхкам. Искал и находил влюблённые сияющие глаза женщины, которая кивала ему, восхищалась, гордилась его отвагой и бесстрашием.

— Ну, как, Елена? Они меня слышат?

— Мы все тебя слышим, Иван! — она сжимала его руку, которая трепетала от страсти.

Косматый певец с гитарой прыгал и вертелся в серебряном луче. Кидал в толпу огненные шары звуков, и они лопались, как шрапнель, косили толпу, и она валилась из стороны в сторону. Возносила вверх руки, и они колыхались, словно трава. Певец дул на эти зыбкие стебли, и по толпе, как от ветра, струились и бежали разводы.

*Кремлёвские бесы, нам больше невмочь.
Вы день превратили в ночь.
Кремлёвские крысы, вам сдохнуть пора.
Вы изгрызли звезду и орла.
Кремлёвские трупы, вам — тлеть и лежать.
Нам — петь, веселиться, рождать.*

Певец напрягал голое плечо с татуировкой. Блестел зубами в пышных, как у моржа, усах. Крутился, приседая. Бил кулаком в гитару. Указывал пальцем на Кремль, где лежали отвратительные трупы, которых пора вынести и бросить в осеннюю реку, где пляшут стальные вензели фонарей.

Градобоев наблюдал толпу, её ликование, наивную радость, детскую доверчивость. Вспышки ненависти, переходящие в весёлый гогот и свист. В сумраке мерцали непрерывные искры фотокамер. Улетали в осеннее небо воздушные шары. Над Болотной кружил вертолёт с телекамерой, передавав-

ший изображение митинга в административные центры. На границах площади темнели военные фургоны, грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа. И всё это громадное скопище, это чудовищное существо было подвластно Градобоеву. Он сотворил его легким нажатием клавиш, летучим моментальным касанием портативного ноутбука, из которого летели бессловесные призывы, бестелесные приказы. Как порох, они воспламеняли людские души, изнывающие среди тоскливой бессмыслицы выборов, дурных правителей, лживых лукавцев. Градобоев разглядел в этих душах мучительные центры страдания, волокна боли, импульсы протеста и раздражения. Нашёл среди истёртых и замусоленных слов неповторимые, пламенные слова и обратился с ними к народу. Призвал к восстанию. Как загорается на обочинах сухая трава, опалает кусты, перекидывается на деревья, превращаясь в ревущий пожар, так его пламенная проповедь собрала этот протестующий митинг, в котором среди воздушных шариков, забавных плакатиков, шутейных прибауток и песенок таился бунт.

— Иван, иди! Опять твой выход! — произнесла Елена, глядя обожающими глазами. — Ты гений, герой! Ты президент! Люблю тебя! — она прижалась к нему, а потом легонько толкнула вперёд, перекрестила.

Музыкант, задыхаясь, раздувая моржовые усы, проволоч по эстраде гитару. Градобоев ринулся вперёд, навстречу площади, которая, ахнув, приняла его в объятия. Сотрясая стебелёк микрофона, он снова рыхлил толпу, кидал в неё раскалённые булочки, и они шипели, погружались в гущу.

— Чегоданов считает вас трусливым стадом, которое можно запугать, разогнать бичами, приручить жалкой подачкой! Он сунет вам избирательные бюллетени, куда уже заранее внесено его имя! И вами вновь будут править воры, изуверы и негодяи! Но вы не стадо! Вы самые лучшие, умные, трудолюбивые люди России! У вас чистые руки и безупречная совесть! У вас воля к свободе и справедливости! И эта воля превратит в пепел фальшивые бюллетени, воровские счета в зарубежных банках, всю пиратскую власть Чегоданова! Сейчас он наблюдает за нами, сотрясаясь от страха и ненависти! Скажем ему: “Чегоданов, долой!”

Градобоев воздел кулак, рванул вниз, словно вырывал клочок неба. И площадь, стена, раскачиваясь, глухо и беспощадно вторила:

— Долой! Долой!

Над чёрными крышами в меркнушем небе, озарённый, дышал Кремль. Градобоев чувствовал его близость, его пленительную доступность. Кремль манил розовыми зубчатыми стенами, драгоценной белизной соборов, ослепительным золотом. В нём таилась загадочная грозная сила, сокровенный магнетизм княжеских и царских надгробий, расписных палат и блистательных залов. Кремль был вместилищем таинственных гулов, которые катились из века в век в угрюмых руслах истории. Был средоточием власти, чудовищной, непомерной, управлявшей континентом среди трех океанов. Градобоев жадно взирал на Кремль, стремился в него, знал, что войдёт в него и займёт своё место среди великих вождей и правителей. Ненавидел Чегоданова, мелкого и ничтожного, обманом захватившего священную обитель. Предвкушал, как выбьет его из дворца, станет гнать по винтовой лестнице на колокольню Ивана Великого, сбросит на брусчатку Ивановской площади под восторженный рёв толпы.

— Долой! Долой!

Толпа была в его власти, радостно ему подчинялась. Он сотворил её, собрал по крупицам, вдохнул в неё свой жар, наделил пламенной душой. Толпа ждала от него приказа, замороженно внимала рокотам его голоса, обожала его, видела в нём вождя. И мгновенная искусительная мысль, сладкое безумие, перебой сердца, когда в горле заклокотал, забурился звук, готовый вырваться яростным воплем, грозным приказом — идти на Кремль. И толпа всей своей многотысячной мощью двинется вслед за ним, опрокидывая железные грузовики, втаптывая в асфальт пятнистые тела полицейских. Через Каменный мост, в полукруглую арку, навстречу пулемётам, ребристым БТРа́м, опадая окровавленными клубками, заливая чёрной магмой озарённые дворцовые залы.

Звук пробурлил и умолк. Градобоев отшатнулся от черты, которую кто-то провёл перед ним стеклорезом. Ушёл, качаясь, в глубину эстрады, откуда наблюдали за ним испуганные глаза влюблённой женщины.

— Ты настоящий рыцарь! Настоящий Иван Великий!

Теперь на эстраде танцевала панк-группа “Бешеные мартышки” — три шаловливые плясуньи в разноцветных колготках. Их лица были размалёваны краской, из-под мини-юбок выплёскивались хвосты. Они скакали, делали сальто, гибкие, вёрткие и смешливые.

*Мы безумные мартышки,
У нас бритые подмышки.
Мы проворны и ловки,
У нас бритые лобки.
Чегоданов, Чегоданов,
Подари нам сто бананов.
Получи от нас привет,
Посмотри на свой портрет.*

Танцовщицы задирали мини-юбки, выгибали спины, открывали выпуклые ягодицы, на которых был запечатлён портрет Чегоданова. Толпа свистела, хлопала, поощряла проказниц. А те скакали, ходили колесом — маленькие, гибкие, неутомимые.

Градобоев испытывал торжество. Он был властелин, кудесник, бесстрашный оппозиционер, который сумел разбудить сонные души, оттеснить утомлённых и блеклых вождей оппозиции, нанести удар в самое сердце неповоротливой и ленивой власти. Пресыщенная, безнаказанная власть собиралась в очередной раз праздновать победу над изнурённым и понурым народом. Теперь эта власть ошеломлённо и тупо взирала, словно бык, получивший удар кувалдой. Со своими армиями и полицией, банками и корпорациями, ядовитыми телеканалами власть была бессильна перед лёгким нажатием клавиши, которая включала таинственную музыку, рассыпала незримые позывные, собиравшие на площадь тысячи протестантов. И вот они, молодые и талантливые, весёлые и непреклонные, явились, чтобы услышать своего кумира, показать ненавистным кремлёвским зубцам свои стиснутые кулаки.

Градобоев почувствовал, как могучая и слепая стихия, весёлая и страшная, упоительная и роковая, подхватила его и вынесла к микрофону, на самый обрез эстрады. Площадь взорвалась ликованием, замерцала бессчётными вспышками, заволновалась флагами. Он был любим, он был долгожданным пророком, неподкупным и бесстрашным воителем.

— Настал наш час — час непокорных! Час бесстрашных! Час патриотов! Нам не нужен президент — землеройка, который подгрыз все живые корни страны! Нам не нужен Чегоданов, который, как моль, проел все ткани народной жизни! Нам нужен другой президент!

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! — ревела площадь.

Он чувствовал единение с тысячами обожавших его людей. Он чувствовал свою уникальность, неповторимость, своё предназначение, свою грозную и восхитительную миссию, которую возложила на него судьба. Он воздел кулак, обращая лицо к Кремлю:

— Чегоданов, ты слышишь меня? Выходи на бой! Я сорву с тебя твой чёрный пояс, и все увидят, что это корсет от грыжи!

— Гра-до-боев! Гра-до-бо-ев! — грохотала площадь.

— Люди, верьте мне! Я пойду до конца! Поведу вас к победе! Мы соберём наш митинг на Ивановской площади и назовём имя нашего президента!

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Он испытывал сладость и муку. Сердце стало огромным и любящим. В горле клокотали колокольные звоны. В глазницах копился свет. Он смотрел на тёмное московское небо, под которым сияли соборы Кремля, бежали огни по Каменному мосту, волновалась чёрная площадь. И в небе возникла серебристая точка. Малая лучистая звёздочка. Приближалась, росла. Превращалась в бриллиант, который, как око, взирал на него из небес. Выбрал

его единственного из миллионов людей, устремил на него свои божественные лучи.

Градобоев смотрел на бриллиант, зная, что это знамение, предсказывающее ему ослепительную судьбу.

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-боев! — ликовала площадь.

Он покинул эстраду. Окружённый охранниками, протиснулся сквозь толпу репортёров. Уселся в “мерседес”, в тёплый душистый салон, где ждала его любимая женщина. Поцеловал её жадные жаркие губы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Премьер-министр Фёдор Фёдорович Чегоданов, экс-президент и новый кандидат в президенты, решивший после четырехлетнего перерыва снова вернуться в Кремль, находился в своём кабинете в Доме Правительства. Когда-то, в кровавом октябре 93-го, когда танки стреляли по осаждённому Дому Советов, сюда, в кабинет, залетел снаряд и расплющил защитника, превратив его в огромную кровавую кляксу. Это кровавое пятно на стене тщательно соскабливали, закрашивали, покрывали слоем белоснежных обоев. Но вдруг пятно проступало, как тени испепелённых людей на фасадах Хиросимы.

Теперь, окружённый советниками, помощниками, членами избирательного штаба, Чегоданов наблюдал по монитору митинг на Болотной площади. Чёрная, казавшаяся необъятной толпа колыхала знамена, плакаты, неистово и страстно скандировала:

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Изображение на монитор поступало с вертолёта, и открывалась вся устрашающая грандиозность митинга: переполненная площадь, набитая людьми набережная, окрестные улицы, Каменный мост с мерцающими огнями машин. Другие изображения приходили с телекамер, расставленных в разных местах площади, и тогда были видны молодые весёлые лица, плакаты с карикатурами на Чегоданова, хлесткие надписи: “Вор должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме”. “Чегоданов — Магаданов”. “Страна Чегодания”. Телекамера нацеливалась на трибуну, где сильный, подвижный оратор мощно двигал спортивным телом, возносил кулак, выдыхал металлические рокочущие слова, от которых площадь плескалась, ходила ходуном, восторженно редела.

Чегоданов сжал ручки кресла тонкими цепкими пальцами. Наклонил вперёд заостренную, с редкими волосами голову. Стиснул губы трубочкой, как всегда в минуты душевного напряжения. Не мигая выпуклыми голубыми глазами, гипнотизировал монитор, стараясь поймать взгляд бушующего на эстраде оратора. Окружающие члены штаба сравнивали яростного тяжеловесного Градобоева с невысоким, изящным и лёгким Чегодановым, упрямый бычий напор оппозиционера с манерой Чегоданова тушеваться, уходить от прямых столкновений, уступать пространство сопернику, чтобы внезапно, со стороны, нанести ему разящий удар. Сравнивали молодой азарт и бесстрашие оппозиционера, его честолюбивый натиск, огненное красноречие трибуны с вкрадчивой осторожностью Чегоданова, его нелюбовью к публичным выступлениям, которым он предпочитал ироничные высказывания в узком кругу журналистов.

Клокочущий на трибуне оратор вызывал в Чегоданове острую неприязнь, мучительную ревность, чувство опасности, с которой Чегоданов прежде не сталкивался и которую рождала чёрная гигантская толпа, Бог весть, откуда взявшаяся. Казалось, её выдавила из московских домов неведомая сила. Эта чёрная влажная мякоть была добыта из камня, переполняла площадь, как виноград переполняет давящую, и ничем не напоминала прежние тщедушные митинги оппозиции, которые рассеивались малыми силами полиции: все негодующие протестанты помещались в десяток полицейских фургонов. Явление этой громадной толпы было внезапным, её не предвидели, о ней не предупредили спецслужбы, и Чегоданов чувствовал себя обманутым. Чувствовал загадочную реальность, перед которой были бессильны прежние, испы-

танные технологии. Появился противник, обладавший неизвестным оружием, превосходившим все имевшиеся в арсенале средства.

Глава администрации Любашин, невысокий, печальный, в чёрном застёгнутом пиджаке, негромко поговорил по телефону правительственной связи. Отвлёк Чегоданова:

— Фёдор Фёдорович, поступили замеры из городов-миллионников. Результаты не утешительны.

— Какие? — Чегоданов испытал перебой в сердце, готовясь услышать неприятное известие. Любашин, в плотно застёгнутом чёрном пиджаке, с чёрными сросшимися бровями и печальным смуглым лицом напоминал агента из бюро ритуальных услуг. — Каковы результаты? — повторил Чегоданов, и все присутствующие в кабинете оторвались от экранов и прислушались:

— Ваш рейтинг, Фёдор Фёдорович, снизился с тридцати восьми процентов до тридцати шести. Рейтинг Градобоева вырос до шестнадцати процентов. Пока Градобоев, в любом случае, вам не соперник.

— Вы понимаете, что мы идём к катастрофе? — тихо, почти шёпотом произнёс Чегоданов с теми шелестящими интонациями, что напоминали едва уловимый свист бритвы. — Вы обещали мне шестьдесят процентов и победу в первом туре! Если Градобоев начнёт ко мне приближаться, то все эти ручные животные, которые кормятся из моих рук, все эти дрессированные думские оппозиционеры сорвутся с цепей, объединятся и растерзают меня. Где ваши дутые политологи? Ваши фальшивые политтехнологи, которые всё лето гоняли меня по заповедникам и заставляли целовать в животы разных мохнатых зверушек? Вы действительно считаете, что русский народ — это народ-зверовод? А оказалось, что русский народ — это народ-градобой. Сколько людей на площади?

— Пятьдесят тысяч, Фёдор Фёдорович.

На экране толпа опять вскипела чёрными пузырями, скандируя:

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Все удручённо молчали.

— Надо что-то делать! — нервно воскликнул глава предвыборного штаба режиссёр Купатов. Он был вальжен, лыс, с благородными усами, в клетчатом пиджаке и с шёлковым шарфом на шее. Он был утончённый ценитель дорогих вин, красивых женщин, создатель нескольких кинофильмов, ставших классическими, в которых героизм советских чекистов сменялся воспеванием златоглавой России, погубленной большевиками. Осуждение бандитской либеральной власти сочеталось с хвалебными одами в адрес кремлёвских лидеров. В предвыборный штаб он был приглашён как уважаемая артистическая фигура, способная внести в политический театр яркие нетривиальные краски.

— Что вы предлагаете, Ярослав Аркадьевич? — тихо спросил Чегоданов.

— Ну, я не знаю. Ну, какое-нибудь встречное действо. Ну, может быть, митинг в Петербурге на Сенатской площади, у подножия Медного всадника. Ваше выступление. Чтобы возникла ассоциация с преобразователем России.

— Извините, Ярослав Аркадьевич, — тихо произнёс Чегоданов. — Вы мыслите в системе советских театрализованных представлений. А сейчас не время массовиков-затейников, а эра интернета. Побеждает тот, кто господствует в интернете. Интернет взорвал Северную Африку, а теперь взрывает Россию. Этот разъярённый бык на Болотной — на самом деле изощрённый технолог, господствующий в интернете. Там создаются образы русского Ильи Муромца Градобоева и Соловья-Разбойника Чегоданова.

Режиссёр Купатов обиженно умолк. Отошёл в угол кабинета и закурил трубку, выпуская душистый дым, мрачно сияя лысиной и оскорблённо шевеля усами.

— Разрешите, Фёдор Фёдорович, перейти к интернет-атакам. — Начальник Федеральной службы охраны Божок насмешливо посмотрел на режиссёра Купатова, только и умевшего, что выпускать из себя синий дым. Начальник охраны был высок, почти вдвое выше Чегоданова. У него было

мясистое, словно из сырого теста, лицо, белесые брови и маленькие синие глазки, то злые, то озорные, в зависимости от того, как падал на них свет. — Без интернета и социальных сетей Градобоев — как конь без яиц. Выведем из строя сайты либеральных радиостанций и телеканалов, и пусть они аукануются в пустоте.

— Ты хочешь, Пётр Степанович, чтобы все блогеры мира предали меня анафеме? Чтобы Европарламент начал слушанья о свободе слова в России? Ты полагаешь, это повысит мой рейтинг накануне выборов? — Чегоданов язвительно посмотрел на телохранителя снизу вверх, словно соизмерял крупные габариты его тела с мелкой мыслью. Божок проглотил обиду и, как верующий человек, поискав и не найдя в кабинете иконы, перекрестился на крестовину окна, за которым угасала сырая лимонная заря, высилась чёрно-малиновая гостиница “Украина”, и через мост, над стальной рекой летели без устали воспалённые огни.

— Фёдор Фёдорович, мне кажется, у нас нет оснований беспокоиться за результаты голосования, — степенно заметил председатель центральной избирательной комиссии Погребец, с крупным лбом и металлической бородой, чем-то похожий на старообрядца. — Важно, не кто голосует, а кто считает. Обещая, мы натянем нужный процент, несмотря на веб-камеры, орды наблюдателей и прозрачные урны.

Чегоданов внимательно посмотрел в серые спокойные глаза председателя, стараясь углядеть в них мимолётную искру вероломства. Но взгляд оставался чистым, спокойным и преданным, и Чегоданов с мягкой иронией заметил:

— Вы, Сергей Артамонович, являетесь главным стратегом битвы, которую нам предстоит выиграть. И достойны самого высокого полководческого ордена. Но слишком большой разрыв между истинными и мнимыми цифрами выявляется с помощью современных математических средств. Градобоев объявляет выборы фальшивыми, президента — нелегитимным, а это и есть момент безвластия, к которому ведут все “оранжевые революции”, будь то Сербия, Грузия или Украина.

Погребец промолчал, спокойный, с величественной старообрядческой бородой, хранитель сверхмощного оружия власти, которое, он знал, рано или поздно будет пущено в ход.

— А не проще ли, Фёдор Фёдорович, — вмешался министр внутренних дел Закиров, генерал, чьи погоны с четырьмя звездами напоминали ванночки с уложенными в них морепродуктами. — Не проще ли, не дожидаясь критического момента, ликвидировать подобные митинги. Вверенные мне подразделения разработали соответствующую тактику. Мы, при вашей поддержке, обзавелись современными спецсредствами. Наша агентура успешно работает во всех оппозиционных организациях. Можно спровоцировать беспорядки, что даст нам право применить силу. Все эти разговоры о “софт пауэр” хороши до поры до времени, пока не наступает потребность в “хард пауэр”.

— Отдаю должное, Руслан Ахметович, вашей осведомлённости в политологических категориях. Ваша стажировка в Соединённых Штатах пошла вам впрок. Но вы должны знать, что в “оранжевых революциях” столкновение с полицией или армией — желанный момент, после чего мировые телеагентства показывают бойню в районе Кремля, пробитые головы демонстрантов, несколько убитых мужчин и женщин, и тогда Чегоданов объявляется палачом, от него отворачивается мир, и миллионы восставших идут в Кремль его свергать.

За всем, происходящим в кабинете, чутко наблюдала молодая красивая женщина с чёрными, блестящими, как стекло, волосами. Её глаза вздрагивали радостным блеском, когда Чегоданов осаживал очередного советчика. Ноздри трепетали негодованием, когда звучал очередной несостоятельный совет. Малиновые губы что-то шептали, когда говорил Чегоданов, и казалось, что она подсказывает ему нужные слова. Белые тонкопалые руки, усыпанные перстнями, ласкали одна другую, словно она возбуждала себя этими касаниями. Её звали Клара, она входила в близкий круг Чегоданова, но не имела определённого статуса. Её считали чародейкой, обольстившей Чегоданова своими чарами, влиявшей на принятие важных решений.

Все смотрели на экран, где тонконогие плясуньи скакали по эстраде, пели срамные куплеты, бесстыдно крутили ягодицами с портретом Чегоданова. — Надо отложить выборы, — начальник охраны Божок стал нервно ходить по кабинету, раздражаясь бессовестным зрелищем, на которое был бессилен воздействовать. — Нельзя допускать выборов в условиях падения вашей популярности, Фёдор Фёдорович!

Чегоданов посмотрел на него исподлобья злым волчьим взглядом, от которого телохранитель ссутулился, издал звук, похожий на тихий визг, и стал креститься на оконную раму с чёрно-фиолетовой громадой гостиницы.

Толпа на экране рябила плакатами, флагами, тряпичными чучелами Чегоданова, рисунками, где, трусливо озираясь, Чегоданов тащил на плече куль наворованных денег. Всё это видел Чегоданов, испытывая большое недоумение, мстительную неприязнь к людям, которые ещё недавно обожали его, славил, складывали в его честь верноподданнические песенки, демонстрировали преданность и любовь. Он привык, что ему рукоплескали при появлении на публике. Что во время телемостов ему задавали комплиментарные вопросы. Что женщины писали ему любовные письма. Что ведущие издания мира нарекали его “Человеком года”. Что на выборах он побеждал с заоблачным превосходством. И в сознании народа утвердился его образ спасителя Отечества, победителя в кровавой кавказской войне, укротителя еврейских олигархов. Что же случилось? Когда покачнулось вероломное общественное мнение? Когда народ отказал ему в любви? С какого момента, с какой нелепой пиар-акции он вдруг стал сначала смешным, потом раздражающим, а теперь ненавистным? Быть может, с момента, когда, покидая Кремль после второго президентского срока, он поставил вместо себя мнимого президента Стоцкого? Или во время кризиса, спасая банки-банкроты, насытил деньгами одних, забыв о других, и эти забытые и обиженные начали спонсировать оппозицию, создавать телеканалы, радиостанции и газеты, демонирующие его, Чегоданова?

Сцена на Болотной, озарённая прожекторами, парила над сумеречной площадью. Казалась фантастическим ковчегом, спустившимся из осеннего неба в центр Москвы. Этот ковчег доставил на землю загадочного пришельца, чтобы тот отнял у Чегодаева власть. Мощно и яростно Градобоев вознес кулак, издавал громогласные рокоты, и толпа заколдованно и восторженно вторила пришельцу.

Лицо Градобоева увеличилось во весь экран. Чегоданов видел его сильные широкие скулы, бычий лоб и яростные немигающие глаза. Блестящие белки, чёрные зрачки, которые, как раскалённые спицы, пронзали Чегоданова, и он вдруг испытал ужас, тёмную неодолимую бесконечность, которая открылась в глазах ненавидящего человека. Потрясённый, он отвернулся от монитора.

Послышалось лёгкое похотывание, щёлканье каблук. В кабинете появился президент Валентин Лаврентьевич Стоцкий. Его голова с выпуклыми влажными глазами, сытыми щеками и вьющимися приглаженными волосами была слишком велика для маленького изящного тела, и делала всю его фигуру неустойчивой, шаткой. На нём был щегольской костюм, изысканный галстук, носки туфель слегка загибались, и было что-то мальчишеское в его щегольстве и что-то карикатурное в непропорциональном сложении. Он появился внезапно и своим жизнерадостным видом нарушил общую тревогу и подавленность. Приблизился к Чегоданову, небрежно положил руку ему на плечо, насмешливо уставился на экран.

— Птичий базар! Кулики на болоте! А эта птица — покрупнее кулика! — он весело вслушивался в слова Градобоева, который грозил вынести Чегоданова из Кремля.

Чегоданов раздражённо повёл плечом, стряхивая руку Стоцкого. Ему почувствовалось злорадство в словах президента, которому нравилось слушать, как хулят Чегоданова. Весь его легкомысленный вид, повадки плейбоя, сияющие выпуклые глаза казались Чегоданову в этот тревожный, грозный момент оскорбительными. Мир начинал колебаться, власть ускользала, и внезапно появился опасный враг, который собирал вокруг себя всё больше сторонников.

— Им не откажешь в остроумии, — Стоцкий не замечал раздражения Чегоданова. Со смехом рассматривал плакатик, на котором Чегоданов, вооружённый гаечным ключом, завинчивал гайку на лбу несчастного интеллигента.

Всё вскипело в Чегоданове. Весь мучительный клубок сомнений и подозрений зашевелился в душе. Вся мнительность и ожидание вероломства проснулись в нём. Обнажились весь риск и опасность интриги, связанной с выдвижением в президенты Стоцкого, когда у Чегоданова истёк второй президентский срок, а Конституция возбраняла избираться на третий. Тогда, убоявшись западных ненавистников, не желая прослыть узурпатором, он вверил власть своему приближённому, полагаясь на его верность и преданность, веря, что через четыре года тот вернёт ему власть. С того момента, когда Чегоданов отступил на второй план и возглавил правительство, он не ведал покоя. Ждал президентского указа, которым Стоцкий вышвырнет его из политики. Следил за либералами, которых принимал под своё крыло Стоцкий. Читал донесения агентуры, в которых передавалось содержание тайных переговоров Стоцкого с лидерами Америки и Европы. Всё это теперь вскипело в нём, и страхи, исходящие с Болотной, слились с мучительными страхами ожидания предательства Стоцкого.

Но Стоцкий в своём инфантильном самодовольстве не замечал состояния друга.

— Да, кстати, хотел тебе сообщить. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с нашей германской подругой. Она просила пересмотреть некоторые контракты, связанные с нефтью и сталью.

— Как ты сказал? Вчера? — глухо переспросил Чегоданов.

— Ну, да, вчера, — Стоцкий, улыбаясь, смотрел, как над площадью поднимается воздушный шарик с надписью: “Я — Чегоданов”.

— Почему, если разговор состоялся вчера, ты докладываешь мне об этом сегодня?

— Извини, забыл, — удивился Стоцкий. — Были встречи с лидерами думских фракций. Потом глава Ингушетии, правозащитники из “Мемориала”. Вечером пел Элтон Джон, я думал, ты приедешь, и я тебе доложу.

— Ты что, считаешь меня политической пешкой, с которой больше не нужно считаться? — с тихим, свистящим дыханием произнёс Чегоданов, и Стоцкий, уловив этот знакомый свистящий звук, изумлённо взглянул на Чегоданова.

— Фёдор, что ты! Я действительно забыл! Не хотел беспокоить! Повод ничтожный!

— Ты думаешь, ты президент? Думаешь, мир видит в тебе президента? В русскую историю ты войдёшь, как человек, опошливший само понятие власти, её тайну, её священную сущность!

Чегоданов оскорблял Стоцкого, прилюдно унижал, топтал его гордыню, хотел, чтобы тот взорвался, кинулся на него с кулаками. Но лицо Стоцкого становилось смертельно бледным, краснота щёк уходила к подбородку, на шею, утекала вниз за ворот рубахи. И эта безответная робость распяла Чегоданова. Косматый гнев бушевал, танцевал в груди, и, казалось, во рту, из которого излетали оскорбления, пышет огромная наэлектризованная лампа.

Чегоданов хохотал, кричал, топал ногами, надвигался на Стоцкого, и все, кто был в кабинете, отпрянули, забились по углам. Смотрели, как за спиной Чегоданова на белой стене проступает красная клякса. Отпечаток убитого баррикадника, расплющенного выстрелом танка. Чегоданов уставился на ужасный оттиск, испытывал смертельную немощь, опустошённость, словно косматое существо оставило его, унеся все душевные силы. Он был рыбой, из которой вынули внутренности и которая вяло колыхалась в воде.

— Прости, — едва слышно пролепетал, обращаясь к Стоцкому, — Это не я. Это бес в меня вселился.

Все покидали кабинет. Режиссёр Купатов выронил трубку, и она осталась лежать на полу, источая голубой дымок.

— Останься, — сказал Чегоданов Кларе, беря её за руку. Смотрел, как меркнет сочное пятно на стене.

В соседней с кабинетом комнате Чегоданов лежал на диване, а Клара сидела у него в головах и чуткими пальцами водила по его лбу, бровям, переносице, гладила темя, массировала, сдавливала. Словно лепила ему другое лицо, рисовала неведомые знаки и письмена. Чегоданов замер от этих нежных настойчивых прикосновений. Был весь в её власти, отрезался от собственной воли, избавлялся от мучительных раздумий, подозрений и страхов. Эта прелестная восточная женщина с низким бархатным голосом, душистыми волосами, мерцающими полузакрытыми глазами таинственно и неслышно овладела им. Окружила своими предсказаниями, гороскопами, начертаниями звёзд и планет. Своим жемчужным лицом, переливами удлинённых глаз, загадочными стихами, взятыми из неведомых рукописей и пергаментов. Она казалась древней жрицей, хранительницей заповедных знаний, явилась к нему из ночного звёздного неба, из юношеских волшебных мечтаний.

Теперь она гладила его лоб, словно разгребала тяжкие тёмные ворохи недавних огорчений. Так разгребают груды опавшей листвы, отыскивая под ними уцелевший цветок. Так перелистывают полуистлевшие блеклые страницы, внезапно открывая драгоценную буквицу.

И не было чёрной клокочущей площади, ненавидящих насмешливых лиц, яростных глаз Градобоева, нелепой трубки Купатова, жестоких губ телохранителя Божка, предательского лика президента Стоцкого. А была та чудесная опушка и куст чертополоха с пучком сухого соцветия, из которого тёплый ветер вырывал летучие семена. И они, как прозрачные лучистые звёзды с крохотной сердцевинкой, летели по ветру. И он, мальчик, бежал за летучим семечком сквозь заросли жёлтой шижмы, сквозь розовые лесные герани, распутивая бабочек, сбивая с соцветий бронзовых жуков. Желал догнать это семечко, рассмотреть крохотное тёмное ядрышко, в котором, по словам его деревенской бабушки, находился образок Богородицы. Семечко взмыло, вспыхнуло на солнце и кануло, а он остался стоять с ощущением неразгаданной тайны, в предчувствии своей будущей загадочной жизни. Знал, что запомнит это мгновение, сбережёт до последних дней эту восхитительную сладость и боль.

Клара говорила низким бархатным голосом, нараспев, словно читала письмена, начертанные на пергаменте. У Чегоданова туманились глаза, и он погружался в сладкий обморок.

— Тебе нужен верный друг и советчик, который тебе поможет... Верни Бекетова.

— Он не любит меня.

— Он не любит тебя, но никогда не предаст. Он одержим одной идеей — сберечь государство. Он служит тебе и в твоём лице — государству.

— Не знаю, так ли он умен и дееспособен. Он был хорош несколько лет назад, многое ему удавалось. Он мастер аппаратной интриги. Мастер философской риторики. Певец русского мессианства. Но теперь другая реальность. Народ взбесился, бушует на улице. Его не унять хитроумной придворной интригой или поэтической проповедью. Пора готовить войска. Ставить на кремлевских зубцах пулемёты.

— Бекетов обладает таинственным знанием. Поверь мне, я чувствую в человеке присутствие магических сил. Бекетов ощущает время как движение множества потоков, которые текут из прошлого с разной скоростью, разной прозрачностью, как поверхностные или донные струи реки, её воронки, протуберанцы и завихрения. Он играет этими потоками, одни останавливает, другие ускоряет, смешивает, обращает вспять. Он управляет рекой времени. А это и есть высшая политика, недоступная твоим придворным политологам и интриганам. Прошу тебя, верни Бекетова. Тебе не нужно будет приводить в готовность войска. Бекетов усмирит взбесившийся народ, направит реку времени в безопасное русло...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Андрей Алексеевич Бекетов, сорокалетний шатен с чистым лбом и платиновой седinouй на висках, имел блестящие живые глаза, которыми спокойно и доброжелательно смотрел на собеседника. Но вдруг глаза начинали плавиться, как синий лёд на солнце, в них открывалась пугающая глубина, откуда смотрели неземные миры с их ужасной тьмой, отчего собеседник приближался к обмороку. Это длилось мгновение, и опять смотрели живые блестящие глаза, полные ума и внимания. А бывало, что в самый разгар беседы глаза Бекетова загорались таинственным восторгом. Начинали смотреть поверх собеседника, как смотрят на зарю или на далёкий синий лес, над которым встаёт белое дивное облако. Но и это длилось мгновение, после чего Бекетов возвращался к беседе, и только лёгкий румянец говорил о пережитом восторге.

После своей размолвки с Чегодановым, у которого оба президентских срока состоял советником, Бекетов покинул Кремль и исчез из Москвы, не оставив по себе следов и известий, что породило немало слухов. Журналисты жёлтых газет писали, что он женился на английской баронессе и живет в замке в предместье Лондона. Другие утверждали, что видели его на автосалоне в Токио, и он стал консультантом по России в концерне “Мицубиси”. Третьи говорили, что Бекетову было видение, и он постригся в монахи и теперь живёт уединённо в бедной келье на горе Афон.

На самом же деле, разочарованный в политике и в президенте, утомлённый хитросплетениями московских интриг, которые сам же и наплёл, Бекетов уехал в провинцию и поселился в захолустном городке М. Погрузился в чтение русских волшебных сказок, хроник, повествующих о старце Филофее, в житие патриарха Никона, в учение космиста Николая Фёдорова, в историю Сталинградской битвы. Иногда он заглядывал в интернет, наблюдая, как в социальных сетях, подобно огромной опухоли, взбухает протестная волна. Дурная энергия этого протеста, подобно раковым клеткам, разлеталась по сайтам и блогам, поедая неумное и беспомощное государство. Закрывал компьютер, запрещая себе думать о близкой беде.

* * *

...Перед визитом к Чегоданову машина завезла Бекетова на его московскую квартиру, остановилась у тяжеловесного сталинского дома на Тверской. Божок подарил Бекетову полчаса. Бекетов отомкнул дверь, вдохнул тёплый, с застоявшимися запахами воздух квартиры, в котором, казалось, висели застывшие звуки трёхлетней давности. В спальне кровать была застелена пёстрым пледом, на котором сохранились небрежные складки. В кабинете на отцовском столе лежал забытый томик Лермонтова, который он, уезжая, забыл поставить на полку. Африканские маски, голубые афганские вазы, кампучийские бронзовые колокольчики — фетиши и трофеи отца, — всё было в налёте пыли. Фотография матери и отца казалась тусклой, и он ладонью стёр с неё пыль, поцеловал любимые лица. Он поставил на подоконник заветную орхидею и смотрел, как за стеклом мерцает сверкающее перекрестье. Сначала вскипал стремительный скользящий поток Тверской, и казалось, что бесчисленные блестящие рыбины несутся к нерестилищу, трутся сверкающими боками. Поток прерывался, и в открывшуюся пустоту, пересекая Тверскую, мчался другой поток, по Тверскому бульвару, полыхал сквозь деревья бесщёчными огнями. Бекетов любовался этим пульсирующим раскалённым крестом, вспоминая, как отец в детстве ставил его ногами на подоконник, и они вдвоём заворуженно следили за этой огненной стихией.

Он открыл форточку, и в комнату ворвался рокот и гул города, холодный осенний воздух, запах бензина и палой листвы. Этот гул и свежий сквозняк разбудил тени остановившегося в комнатах времени, и они разбежались по углам и исчезли. Бекетов поставил томик Лермонтова на полку, где оставался для него небольшой зазор, и отправился на свиданье с Чегодановым.

Начальник охраны Божок доставил Бекетова в резиденцию Ново-Огарёво. Знакомые каменные ворота, двухэтажное здание с колоннами, с кустами укрытых роз, голые липы, в которых синел предзимний клочок холодного неба, Бекетов испытал мимолётную сладкую боль от этой беззащитной лазури, которую скоро закроют свинцовые тучи долгой русской зимы с её снегами и ночными буранами.

Они встретились с Чегодановым в кабинете на втором этаже, сохранившем убранство поздних советских времен с их чопорной сдержанностью, где рациональность и деловитость напоминали о пуританской этике советских вождей. Чегоданов, в лёгком свитере и рубашке апаш шёл навстречу Бекетову, протянув вперёд руку. И пока он приближался, Бекетов успел заметить, как тот похудел и осунулся, какое растерянное и тревожное выражение появилось в его глазах.

— Ну, спасибо, Андрюша, что откликнулся на моё приглашение. Прости, что прервал твой отдых. — Чегоданов цепко и страстно сжал Бекетову руку, словно боялся, что тот вырвется и оставит его одного. — Мне так нужна твоя помощь.

— Попробовал бы я не откликнуться. Божок был готов надеть на меня наручники и всю дорогу тыкал мне в ребро пистолетом, — сухо усмехнулся Бекетов, отнимая руку, на которой мгновение держались белые отпечатки боллезненного рукопожатия. — Он сказал, что велено доставить живым или мёртвым.

— Ну, прости его, он не умеет быть лобезным. Ты приехал, и я так тебе благодарен. — Чегоданов усаживал Бекетова на диван, почти вдавливал в мягкие кожаные подушки.

— Признаться, когда мы расстались, и ты дал понять, что во мне не нуждаешься, я решил, что мы больше никогда не увидимся, — отчуждённо и холодно произнёс Бекетов. — Тебе больше не нужна была моя помощь. Я мешал тебе моими советами. Ты выбрал других советников, другой путь, свернув с дороги, по которой мы шли вместе. Что ж, ты вправе был так поступить. Ты видел страну, её цели и её проблемы иначе, чем я. Ты лидер, ты творец истории, а не я. Я только угадывал твою волю и превращал её в реальную политику. Но потом я перестал угадывать, и ты удалил меня. Так поступил с Патриархом Никоном царь Алексей Михайлович, а ведь Никон был “собенный друг царя”.

— Это была ошибка, Андрей. Я в этом раскаиваюсь. Я был самонадеян, неблагодарен. Мне сопутствовал успех, мне всё удавалось. Мне удалось построить нефтяную империю, и Европа пила из моих ладоней русскую нефть. Я стал “Человеком года”, и мой портрет красовался на обложках самых влиятельных мировых журналов. Передо мной заискивали американцы, и я прекратил одностороннее разоружение России. Я установил баланс между Америкой и Китаем и играл на их противоречиях. Наша внутренняя оппозиция из стальной стала пластилиновой. Самодовольные кавказцы недолго выбрали между бомбовыми ударами и обильными траншами. Я спрашивал судьбу, за что она благоволит ко мне. И объяснял свой успех моими достоинствами. Поэтому я не слушал твоих предостережений. Был насмешлив с тобой, даже груб. Как же я был неправ! Ну, прости меня, Андрей! Ты мой друг, единственный, верный. Ты вернулся, и теперь мы опять будем рядом.

Все это Чегоданов произнёс порывисто, страстно, по лицу его бегали малиновые пятна. Бекетов никогда не видел его таким. Где была его знаменитая язвительная ирония, обескураживающая собеседников? Где было легкомыслие и изящество плейбоя, которым он очаровывал своих противников? Где была беспощадная жёсткость, свинцовая тяжесть голубоватых, чуть выпуклых глаз? Перед Бекетовым сидел растерянный, почти сломленный человек, похожий на слепца, которого окутала внезапная тьма, и он чувствовал близость невидимой бездны.

— Но ведь тебе помогает достойная команда. Глава администрации Любашин обладает недожинным умом. Режиссёр Купатов создаёт талантливый дизайн твоей предвыборной кампании. Погребец контролирует избирательный процесс. Чего ты опасешься?

— Всё это мнимо, мнимо! Я страшно одинок. Все, кого ты перечислил, были хороши, когда общественное море оставалось спокойным. Их прогнозы, их технологии не предполагали откровения, были очевидны. Но теперь, когда разразилась буря, они бесполезны. Их советы примитивны, они выглядят бездарными трусами. Когда власть закачалась, то закачались их клятвы и присяги, многие перебегают к противнику. Агенты сообщили, что между Китаем и Америкой ведутся тайные переговоры о возможной аннексии Сибири и Дальнего Востока. МИД не докладывал мне об этом. Американцы устанавливают на Аляске системы новых вооружений, способных воздействовать на биосферу России, менять климат, возбуждать пожары и засухи, наводнения и ледяные дожди. Где мое министерство обороны и военная разведка? Европейцы создали технологии по изготовлению сланцевого газа, а это бьёт всю мою газовую империю. Война на Кавказе разгорается с новой силой, а у меня почти нет армии. В губерниях возрождается сепаратизм. И, главное, Стоцкий, он выглядел другом, а оказался тайным врагом. Почему власть, вчера еще такая крепкая, незыблемая, вдруг стала сыпаться, оседать, проваливаться в какую-то яму? Откуда взялась эта Болотная площадь, переполненная моими вчерашними выкормышами, которые сегодня меня ненавидят? Откуда, из какого омуты, всплыла эта гадкая рыба Градобоев? Объясни, что случилось?

Бекетов был поражён этой исповедью. Смертельная тоска была в глазах Чегоданова. Невыносимая боль, словно его укусила змея, и яд лился в крови, причиняя мученье. Бекетов испытывал к нему сострадание, перед которым отступили былые обиды.

— Причина в том, что стал разрушаться кристалл государства, который мы вырастили с тобой из этой липкой медузы, расплывшейся между трёх океанов. Мы заморозили эту гадкую жижу и остановили её растекание. Мы превратили эту отвратительную, доставшуюся от предшественника слизь в твёрдое вещество. В кристалл, который взрастили благодаря нашим технологиям. Мы создали кристаллографию, которая снова превратила Россию в государство.

Бекетов испытал сладостное торжество, вернувшее его в недавнее прошлое. Видел этот драгоценный кристалл с зеркальными гранями и лучистыми вершинами. В сияющих плоскостях гуляли разноцветные переливы, расплывались радуги, отражались багровые зарницы и сполохи. Слово в кристалле клубились волшебные стихии истории, вторгались таинственные энергии мира, звучала космическая музыка. Бекетов вращивал этот кристалл государства в незримой реторте. В ней клокотала магма людских страстей и политических схваток. Террористических актов и военные сражений. Дворцовых интриг и утончённых диверсий. Плавилась обломки прежней страны, осколки прошлых идей, остатки былых репутаций. Как искусный металлург, он управлял этим жгучим кипением, менял температуру, давление, удалял кислоты и шлаки. Видел, как в огненной жиже, среди пузырей и вихрей зарождается кристалл государства. Формируются его таинственная геометрия. Геометрия новой страны.

Бекетов восхищённым остановившимся взглядом созерцал это дивное творение.

— Я предложил тебе технологии, управляющие социальными энергиями. Я чувствовал эти энергетические потоки, льющиеся с разной скоростью, с разной плотностью и прозрачностью. Одни из древних времён прихотливо достигали наших дней. Другие из близкого прошлого продолжали нести обветшалые смыслы. Третьи, зарождаясь на наших глазах, принимали вид непредсказуемых вихрей и взрывов. Я умирал эти взрывы, устраивал ловушки, в которых гасил опасные завихрения. Выбирал те, что способствовали росту кристалла. Уменьшал разрушительную силу других. Меня ненавидели, потому что я укрощал эгоизм политиков и безумство политических партий. Разрушал репутации самонадеянных выскочек, используя для этого подчас аморальные методы. Прослушивал телефонные разговоры. Обнародовал банковские счета. Подкладывал им в постели дорогих проституток, а потом вывешивал фотографии в интернете. Я запускал ложную информацию, кото-

рая побуждала наших противников к необдуманным действиям, после чего они оказывались ослабленными или уничтожались. Я создавал молодёжные организации, которые подавляли уличных экстремистов. Я вносил идеологическую путаницу в ряды коммунистов и националистов. Вёл тонкие игры с еврейской интеллигенцией, отдавая им на откуп газеты и радиостанции, где их ядовитая энергия свёртывалась и выпадала в осадок. И мне удалось ценой невероятных усилий вырастить кристалл молодого русского государства, которое я передал тебе в руки.

— Всё так, всё так, Андриуша! Ты настоящий маэстро, и тебе нет равных! — воскликнул Чегоданов.

— Но ты не воспользовался моим подарком. Этот кристалл предстояло лелеять, вливать в него струи новых энергий, пронизывать пучками лучистого света, вносить в трепещущее поле живой истории. Этот эмбрион государства ещё предстояло выносить, добиться родов, чтобы родившаяся страна увидела свет, задышала, открыла глаза. Ты обладал в народе громадной популярностью. Ты накопил в казне несметные нефтедоллары, которые подарил тебе Ермак Тимофеевич, завоевавший Сибирь. Мы говорили с тобой о развитии, о рывке, который предстоит совершить России. О строительстве заводов и научных центров, звездолётов и дзетских больниц. О справедливой стране, о которой мечтал народ, униженный и оскорблённый захватчиками. Мы хотели создать Великую Россию, которую каждый человек считал бы своей. Строил её, как огромный и светлый дом между трёх океанов. Сберегал таинственную евразийскую чашу, куда во все века стекались реки великих империй. Ты мог разбудить дремлющие в народе коды, задавленные нуждой и унынием, и народ, очнувшись, стал бы снова народом-героем, народом — открывателем и подвижником. Ты мог написать великую и грозную книгу, в которой тебе судьба отвела великое место. Мы говорили с тобой об этом в самолёте, когда ты летел на мучительные переговоры в Вашингтон. Говорили в гарнизонной гостинице после твоей душераздирающей встречи с вдовами утонувшего “Курска”. Говорили в келье Тихвинского монастыря, когда ты приложился к чудотворной иконе. Это было время крошечных трудов и ослепительных надежд.

Бекетов видел, как на лице Чегоданова появилась мучительная улыбка, словно мимо него пронесли дивный фонарь, но было не дано насладиться его волшебными отсветами. Фонарь удалялся и меркнул.

— Ты не захотел писать книгу истории. Испугался великой роли. Не начал модернизацию. Израсходовал накопленные для развития деньги. Промотал ресурс исторического времени. Тебя словно подменили. Ты почти перестал работать, а всё время уделял бассейнам, лыжам и безвкусному пиару, который придумывал постаревший, утративший талант режиссёр. Чего стоят твои поездки на канареечном автомобиле или зоологические пристрастия с поцелуями рыб и животных. Кристалл, который требовал ухода и вращения, ты уронил в грязь Болотной площади, и он стал таять, потёк. Вновь превратился в жидкость. Я упрекал тебя, но ты не слышал меня. Я досаждал тебе и решил уехать. Твоя неудача — это и моя неудача. Твоё поражение — и моё поражение. Судьба от тебя отвернулась и повернулась к другому. К кумиру Болотной площади. Его питают бурные потоки истории. Его они возносят на вершину власти. Он станет президентом России. Придворная челядь, которая клялась тебе в верности, чувствует это и перебегает к нему. Таков удел слабеющих вождей. Ты, Фёдор, — слабеющий вождь.

Бекетов увидел, как страшно побледнел Чегоданов. Казалось, на его скулах выступили белые кости. Ноздри гневно дрожали. В выпуклых голубоватых глазах появился красный металлический отсвет, какой бывает в жаровне, полной углей. В нём поднималось свирепое бешенство.

— Ты приехал, чтобы глумиться надо мной? Может быть, ты снюхался с этим уродом Градобоевым? Может быть, ты вошёл в его штаб и используешь свои чёртовы технологии, чтобы валить меня? Ты такой же предатель, как вся остальная мразь, которую я приблизил к себе, и она теперь кусает руки, из которых получала корм!

У Чегоданова начиналась истерика, которая случалась с ним крайне редко. Лишь в тех случаях, когда его воля подвергалась колдовским воздействиям. Тогда он лишался вкрадчивого голоса, самообладания, умения скрывать мысли. Он больше не справлялся с тёмной волной, которую направляли на него специалисты психологических войн, мастера магических атак, имеющих целью парализовать и разрушить противника. Так было однажды, в день его рождения, когда убили известную журналистку, неутомимую в своих обличениях Чегоданова. Это называлось “сакральной жертвой”. У человека в день рождения оживает пуповина, связывающая его с Мирозданием. Он становится беззащитным перед внешним воздействием. Страшный подарок в день именин породил пучок смертоносной энергии, которая вонзилась в Чегоданова. Он корчился от боли, ревел от бессилия. И только явившийся по срочному вызову монах с молитвой вырвал из Чегоданова невидимую стрелу. И пустил её обратно, в сторону незримого лучника.

— Ты явился, чтобы добить меня? — Чегоданов воздел кулаки, и казалось, обрушит их на голову Бекетова.

Бекетов поднялся.

— Я приехал по твоему зову и не мог не сказать того, что я думаю. Теперь я вижу, что мой приезд не имеет смысла. Я уезжаю.

Он шагнул к дверям, но Чегоданов догнал его, схватил за руку:

— Прости меня, Андрей!

Снова сел на диван, видя, как в окно кабинета брызнуло бледное предзимнее солнце. И далёкое, мучительно нежное воспоминание посетило его. Бабушка ведёт его в школу, под ногами — сизая лужа во льду, и сквозь голые липы брызнуло бледное предзимнее солнце.

— Ты прав во всём! Но не время об этом! Нам надо выиграть, не пустить в Кремль это чудовище, порождение спальных районов, чёрных подворотен, озлобленной глупой толпы! Мы победим, и после победы, поверь, я стану другом! Это будет другой Чегоданов, о котором никто не слышал! Ты говорил о преображении, о чуде превращения Савла в Павла! Я стану Павлом, стану угодным Богу! Судьба опять повернётся ко мне лицом! Мы станем творить историю, строить великое государство! Мы укротим ненасытных вампиров, которые сосут из России соки! Я знаю, как вернуть в страну вывезенные воровские деньги! Страшным ударом уничтожу коррупцию! Прикажу построить в Мордовии двадцать лагерей, куда станут свозить воров, будь то министр или олигарх! Отберу у рублёвских жуликов их дворцы, поселю в них беспризорных детей. Россия будет великой! Евразийский союз, который я замышляю, это прообраз будущей Великой России в её традиционных границах! Нам нужно победить! И тогда мы вместе с тобой станем писать историю! Впишем в неё наши имена!

Всё это Чегоданов произнёс захлебываясь, с восторженной синевой в озарённых глазах. Эта была та самая страсть, в которую он увлекал других, обезоруживая своей верой и искренностью. Этой огненной страстью он оплавливал кромки, отделяющие его от собеседника, превращал врагов в друзей, соперников — в надёжных союзников.

— Я не знаю, поймёшь ли ты меня, — медленно произнес Бекетов.

— Пойму, конечно, пойму! Кого же мне ещё понимать!

— Схема, которую я могу предложить, на первый взгляд может показаться нелепой.

— У тебя не может быть нелепой схемы. Все твои схемы блистательны!

— Она сопряжена с риском, быть может, только ускорит катастрофу.

— Ну, хочешь, я тебе дам расписку, что в моей смерти Бекетова прошу не винить, — усмехнулся Чегоданов.

— Ты можешь мне обещать, что, если примешь мою схему, то уже никто не посмеет в неё вмешиваться — все эти твои высоколобые дурни и пошлые оригиналы?

— Всех буду гнать! Ты один хозяин!

Бекетов молчал, словно раздумывал, стоит ли затевать эту непосильную, не предсказуемую по своим результатам работу. Или уже поздно, и всё безнадежно — все технологии бессильны. Тонкие тенёта технологических ухи-

шрений разорваны, и на свободу вырвалась сама история, как свирепая, неподвластная технологиям стихия. В своей уединённой ссылке, читая манускрипты, погружаясь в теории русских космистов, он не мог до конца отрешиться от московских событий, которые, как осенняя буря, стучали в его оконце. Будили ночами, и он вскакивал, хватал лист бумаги и чертил политологические схемы. Рисовал вектор сил, исследовал геометрию русской катастрофы. Старался доказать теорему Русской Победы.

— Боюсь, что моя идея покажется тебе сумасшедшей.

— Я живу среди сумасшедшей реальности.

— Найдутся люди, которые скажут, что я толкаю тебя в яму.

— Я уже в яме.

— Я не уверен, что эта идея является, безусловно, спасительной, и есть вероятность провала.

— И без твоей идеи вероятность провала громадна. Говори.

Зрочки Бекетова перестали трепетать, остановились, странно расширились. Словно он погрузил взор в туманную тьму, где текли струи невидимых вод, скручивались спирали безымянных потоков, реяли отсветы загадочных вспышек. Так смотрят в звёздное небо, ужасаясь и восхищаясь, испытывая сладкое помрачение.

— Перед тобой — бушующая, ненавидящая тебя Болотная. Там — твоя смерть. Там, на площади, — тот, кто желает твоей смерти. Все твои усилия, все ухищрения твоих штабистов направлены на то, чтобы ослабить площадь. Уменьшить её давление, сократить толпу. Для этого ты мешаешь им собираться, увеличиваешь штрафы, обливаешь грязью Градобоева, повышаешь зарплату милиции и ОМОНу. Готовишься жестоко разогнать митингующих. Но при этом популярность Градобоева продолжает расти, а твоя — падает. И тебе не видать победы, даже если твой Погребец установит не двудонные, а трёхдонные урны и завалит эти урны фальшивыми бюллетенями. Надо действовать прямо наоборот.

— Как? — нервно спросил Чегоданов.

— Надо делать всё, чтобы площадь ломилась от народа. Чтобы на ней появлялись всё новые и новые бунтари. Чтобы Градобоев выглядел твоим палачом. Чтобы площадь бурлила, как кастрюля с супом, а в неё вбрасывали всё новые и новые специи и приправы. Лавровый лист в виде коммуниста Мумакина. Перец в виде революционного радикала Лангустова. Корицу в виде светской куртизанки Ягайло. Грецкий орех в виде еврейского активиста Шахеса. Чеснок в виде русского националиста Коростылёва. Надо увеличивать под кастрюлей огонь, чтобы суп вспенился и полился через край. Пусть его гарь почуют в каждом городке и посёлке.

— Зачем этот жуткий борщ? — недоверчиво спросил Чегоданов, — Зачем мне усиливать Болотную и делать из Градобоева моего палача?

— Надо показывать народу чудовищное лицо бунта. Надо пугать людей кровавой пастью новой революции, которая повторяет жуткий распад государства. Февраль семнадцатого, кошмар гражданской бойни, войну всех против всех, лагеря, расстрелы, нищету, бегство лучших русских людей за границу. Надо сравнивать Болотную площадь с перестройкой, Ельциным, Беловежьем. России уготована судьбы СССР, распад, оккупация. Надо сравнивать Градобоева с Керенским и с Горбачёвым. Надо убеждать людей, что ты, каким бы нелюбимым и даже ненавистным ни выглядел, являешься последним защитником государства. Твоё уничтожение является уничтожением государства, после чего Россия превратится в кровавую бездну. Кровью захлебнутся нищий и богач, еврей и русский, якут и чеченец. Только так ты можешь победить Болотную. Усиливая её, сокрушить.

— Но где гарантия, что народ испугается революции? — Чегодаев дрожал от волнения.

— Даже банки не дают гарантий. Тем более, их нет в политике. Риск огромен, но мой план основан на глубинном понимании русского сознания. Кодов, которые дремлют в глубине русского народа. Народ живёт ужасно. Но если народу предстоит выбирать между плохим государством и хаосом, он выберет плохое государство. Выберет тебя.

— Гениально! — воскликнул Чегоданов. Его выпуклые голубоватые глаза восторженно смотрели на Бекетова, как на своего спасителя, которому он вручает свою судьбу. — Что я должен делать? Что мы должны предпринять?

— Наша сегодняшняя встреча и наш план должны сохраняться в тайне. Об операции не должен знать даже твой преданный нукер Божок. Я вернусь в Москву твоим врагом, и буду мстить тебе за опалу, за унижение, которому ты меня подверг. Я войду в доверие к твоему палачу Градобоеву. Пользуясь моими связями, я приведу других оппозиционеров на Болотную площадь. Я найду среди телеведущих такого, кто слышит “телевизионным киллером”. Он обрушит на народ всю страшную правду о грядущей революции и “великом русском хаосе”, которым дышит Болотная. Сам же стану ездить по оборонным заводам, которые являются оплотом государства, где работают люди, всё ещё верящие тебе, ждущие, что ты, наконец, начнёшь долгожданное развитие. Я стану формировать из них гвардию, Семёновский и Преображенский полки, которые в нужный момент выступят на твою защиту.

— Гениально! — повторил Чегоданов, порываясь обнять Бекетова, но удерживая свой порыв.

— Тебе станут доносить на меня. Говорить, что я предатель. Божок, чего доброго, захочет меня ликвидировать. Принести “сакральную жертву”. Удерживай его от этого. Градобоев станет ушиться успехом, собирая на митинги несчётную толпу. Он вдруг поймёт, в какой западне оказался, но будет поздно.

— Пусть хлещет этот суп! Пусть кашляет от перца, задышится от горчицы, чихает от чеснока, икает от корицы, а потом выльет всё это варево себе на голову! Мы победим! Мы начнём новую страницу истории! Мы созовём Семёновских и Преображенских гвардейцев. У нас снова будут самые лучшие в мире самолёты. Самые быстроходные танки. Самые неуязвимые ракеты! Мы покончим с нищетой! Я притащу на Красную площадь олигархов, и они покаются перед народом. Вернут нефтяные поля, алмазные копи, рудники и заводы. Они переведут в Россию свои воровские деньги. Ни одного беспризорного, ни одного сироты, ни одной “слезы ребенка”! Народ нас поймёт! Глубинные коды! Вера в своё государство! Я оправдаю эту веру! Мы построим новую Россию, и она запомнит наши имена!

Чегоданов обнял Бекетова, прижал к груди, и тот слушал, как громко стучит его сердце.

— Ты победишь, — произнёс Бекетов, освобождаясь от крепких объятий, — Россия выиграет шесть необходимых ей лет.

— Да, шесть необходимых лет! — вторил ему Чегоданов.

Глаза Бекетова стали неподвижными, устремились к синим лесам, над которыми вставало белое облако. Ему привиделся отрок, над головой которого золотился волшебный свет.

Выходя из резиденции, Бекетов встретил главного телохранителя. Божок, льстиво улыбаясь, довёл его до машины.

— Счастливого пути, Андрей Алексеевич, — сладко произнёс Божок, но его маленькие глаза на безволосом лице краснели искорками граната.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Бекетов подошёл к окну. В сумерках осеннего неба, далеко, за домами, горели рубиновые звёзды Кремля. Бекетов вглядывался в их туманное свечение, в котором чудилась бессловесная угроза. Он снова своим появлением потревожил их дремотный покой. Орхидея из глиняного горшка тянула длинные остроконечные листья. И Бекетов вдруг обнаружил, что среди листьев появился побег, тонкий стебель с тремя бутонами. Это открытие восхитило его. Мама из своих небесных садов посылала ему чудную весть. Среди чёрной предзимней Москвы готовила ему дар — белые целомудренные цветы, с которыми посылала свою любовь, свою молитву о нём, свою надежду на предстоящую им неизбежную встречу. Бекетов коснулся губами бутонов, словно поцеловал любимое лицо.

Он отыскал в интернете имя некогда известного телеведущего Михаила Немвროзова, блиставшего на экране главного телеканала страны. Яростный и надменный красавец с сочным голосом оперного певца и осанкой героя-любownika, с весёлыми злыми глазами, Немвროзов владел искусством уничтожать репутации, превращать в труху напыщенных и властных вельмож. Бекетов до своей опалы и ссылки пользовался его услугами, оказывал ему протекцию. С его помощью наносил смертельные удары врагам государства в том его виде, в каком оно соответствовало его с Чегодановым замыслу. После вынужденного отъезда Бекетова Чегоданов убрал Немвросова с центрального телевидения, и тот мгновенно погас, провалился в мусорную яму бессмысленных и пошлых передач, которыми изобиловали третьесортные, одинаковые, как цветные обёртки, программы.

Бекетов нашёл Немвросова в убогой студии, свившей уютное гнездо в цехах разорившегося завода. Было тускло, дули зловонные сквозняки, сновали немывтые и нечёсанные ассистенты. Стены были обиты жестью, и все помещение напоминало мятую консервную банку.

Они сидели с Немвросовым за колченогим столом, на котором были рассыпаны замусоленные бумаги, и стояла несвежая кружка с остывшим кофе. Бекетов с горьким недоумением рассматривал лицо Немвросова. Ещё недавно холёное и мужественное, пленявшее женщин, наводившее страх на вельможных чиновников, теперь оно постарело, погасло, было покрыто желтоватой ржавчиной, словно долго лежало в уксусе.

— Да вот, видишь, в какую дыру меня зачихнули. Рекламирую какой-то джем, какую-то воночную патоку. Веду дебильное ток-шоу, где старые тётки рассказывают о первой любви. А что делать, Андрюша? Деньги на хлеб нужны, на бензин нужны, на портки, чтобы срам прикрыть, — он хлопнул себя по засаленным джинсам, из-под которых торчали scomканные носки. — Сколько мы для Чегоданова сделали! Пахали на него, а он тебя загнал в дерьмовое захолустье, а меня засунул в козлиный зад. Не прощу! Отомщу ему по полной...

Немвросов с тоской осматривал обитую жестью студию, где погибал его талант, меркла слава, тускнело и старилось его знаменитое лицо. Он ненавидел и беспомощно сжимал кулаки, понимая, что время его ушло, удача невозвратно промелькнула, и он обречён истлеть в этой грязной дешёвой студии, орать на дурных ассистентов, пить кофе из несвежей кружки, обслуживать ничтожных дельцов.

— Миша, ты великий и несравненный, — Бекетов поймал его затравленный взгляд и вливал в него энергию света. — Ещё ничего не кончилось, а только всё начинается. Я вернулся. Чегоданов призвал меня и умоляет помочь. Он в беде, нуждается в немедленной помощи. И мы поможем ему. Я говорил о тебе. Он возвращает тебя на главный канал. Дает первоклассную студию. Зарплата, какой ты не видел. Персональная машина. Авторская передача в прайм-тайм.

— Ты издеваешься? — Немвросов зло оскалил собачьи зубы, которые раньше белоснежно блестели в его неотразимой улыбке. — Ты пришёл поиздеваться надо мной?

— Мне некогда заниматься пустяками, Миша. Времени в обрез. Я пришёл к тебе, потому что ты лучший, неповторимый, непревзойдённый. Ты сделаешь то, что не по силам другим.

— Ты снова вместе с Чегодановым? Вы помирились? Ты хочешь вернуть меня на экран? У тебя есть проект? — неверие в тёмных зрачках Немвросова сменилось надеждой, от которой зрачки расширились и засияли. — В чём проект?

— Ты снова станешь звездой! Твоё лицо станут обожать в каждом доме. Постовые опять будут отдавать тебе честь. И девушки станут носить майки с твоим лицом, за которым будут дышать их прелестные груди.

— В чём проект? — нетерпеливо перебил Немвросов.

— Ты должен уничтожить Градобоева. Превратить его в пыль. Рассыпать на молекулы. На элементарные частицы, чтобы он улетел в чёрную дыру Вселенной, откуда выпал. Ты понял?

— Как?

— Показывай площадь, показывай толпу! Неистовые лица, орущие рты, вздетые кулаки! Лицо Градобоева, ненавидящее, налитые кровью глаза! Говори, что он зверь, людоед! Ненавидит всё русское, Кремль, соборы, могилу Неизвестного солдата! Он завербован, агент ЦРУ! Получает деньги от Госдепартамента! Предатель, власовец! Ворвётся в Кремль и приведёт за собой американских морских пехотинцев! Ненавидит русское государство, хочет его уничтожить! Сеет хаос, как Керенский в феврале семнадцатого! Как Горбачёв в августе девяносто первого! Его приход к власти означает распад территорий, гражданскую войну! Брат на брата! Расстрельные рвы! Избиение духовенства! Голод! ГУЛаг! Уничтожение заводов! Унижение армии! Показывай его чудовищный лик, чтобы мороз по коже!

Бекетов выпрыскивал в Немвროзова огненные лучи, вливал в него раскалённую плазму и видел, как Немвровов меняется. Как выпрямляется, наливаются соками тело. Опадает с лица серая ржавчина, и лицо белеет, розовеет, молодеет, обретает прежнее яростное, счастливо-безумное выражение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Штаб-квартира Ивана Александровича Градобоева располагалась в дорогом особняке среди Зачатьевских переулков. Особняк был арендован на деньги тайного спонсора, который видел в Градобоеве будущего президента. Если выйти на маленький изящный балкон, то можно было увидеть холодный проблеск Москва-реки. Памятник Петру казался огромным чешуйчатым роботом, напичканным электроникой терминатором, который заскрипит, задвигается и начнёт тяжело шлепать, перешагивая крыши домов. Градобоев, пренебрегая указаниями охраны, иногда выходил на этот балкон, вдыхая студёный осенний воздух. Усмехаясь своим честолюбивым мечтаниям, представлял, как в ночь после выборов он выйдет на балкон к своим обожателям, весь переулок будет кипеть восторженной толпой, мерцать бесчисленными вспышками фотокамер, а на реке возникнет корабль, украшенный бриллиантовыми огнями, и расцветут букеты победного салюта.

Но сейчас Иван Александрович, исполненный бодрости и азарта, начал свой день, напомилавший снаряд, который он выпустит по Чегоданову. Так бронбойщик выцеливает в окуляр вражеский танк, готовый всадить в него управляемую ракету.

Он принимал в кабинете своего главного охранника Семёна Семёновича Хуторянина, человека с тихим голосом и осторожными, щупающими глазами. Охранник докладывал Градобоеву оперативную обстановку в городе, делился слухами и обрывками информации, которую добывал из доверительных источников в полиции, в службе безопасности, в администрации президента. Сам Хуторянин, в прошлом работник спецслужб, имел связи в органах, сохранившиеся со времён чеченской войны.

— Я бы просил, Иван Александрович, увеличить мою команду ещё на четыре человека, и желательно подобрать машину и спецпаратуру. Вокруг Чегоданова муссируются разговоры о “сакральной жертве”, которую следует принести во имя победы на выборах. Меня, признаться, это очень тревожит.

— Пусть это вас не тревожит, Семён Семёнович, — Градобоев ясным, чуть насмешливым взглядом осмотрел сутулого Хуторянина, который напоминал черепаху, готовую спрятать под панцирь сухую голову. — Слухи о “сакральной жертве” распространяют маги и звездочёты, взбадривающие унылого Чегоданова. Он сам и есть “сакральная жертва”, которую принесут его подданные, когда увидят, что он проиграл.

— И всё-таки, Иван Александрович, следует усилить меры безопасности. Прошу сообщать мне маршруты ваших передвижений по городу. И счёл бы необходимым при входе в вашу штаб-квартиру установить рамку металлоискателя. К вам многие идут на приём, и кто знает, что у них в портфелях и сумочках.

— И это преждевременно, Семен Семенович, — мягко, чтобы не обидеть усердного телохранителя, произнёс Градобоев. — Вы прекрасно работаете. Я вам благодарен. После нашей победы я предложу вам возглавить Федеральную службу охраны.

Охранника сменил работник аппарата, которому Градобоев поручал деликатные связи с финансовыми кругами и который добывал деньги, питавшие оппозицию. Коломейкин, тоже бывший работник спецслужб, был элегантный, весёлый, завсегдатай фуршетов и корпоративных вечеринок, где он завязывал дружеские отношения с банкирами, директорами корпораций, бизнесменами, которые пострадали от Чегоданова и были готовы спонсировать оппозицию. Деньги в штаб Градобоева поступали в виде бумажных пакетов, туго набитых банкнотами, либо в виде подарков: автомобили, арендованные особняки, зарплата адвокатам, авиационные билеты для многочисленных вояжей.

— Как прошла ваша лондонская поездка? — Градобоев торопился узнать, чем кончились встречи Коломейкина с миллиардерами, которые сбежали из России, опасаясь преследований, и образовали в Лондоне группу влиятельных ненавистников Чегоданова. — Как было прочитано моё письмо?

— Его прочитала вся “великолепная семёрка”, с которой я встречался в отеле “Дорчестер”. А тот, кто носит имя милого русского дерева, принял меня в своем замке в окрестностях Лондона. И я любовался великолепным парком, стриженными газонами и золотогрудыми утками, которые летали над прудами.

— Я посылая вас в Лондон не за утками, — раздражённо перебил Градобоев велемечивого помощника. — Как письмо?

— Ваше обещание, в случае победы, вернуть их всех в Россию вызвало воодушевление. Почти все они изъявили готовность помочь деньгами. Я разрабатываю схемы, по которым деньги могут поступить в Россию, не привлекая внимание спецслужб. Одна из схем — получение траншей через некоммерческие организации.

Отпустив помощника, Градобоев открыл компьютер и сделал вброс в интернет, разместив в своём блоге несколько яростных фраз.

“Воры из “Роснефти” украли очередной миллиард долларов на строительстве восточного нефтепровода, это ваши деньги, люди русские. Жулики псковской таможни построили восемь личных особняков в курортной зоне стоимостью десять миллионов долларов каждый, при этом половина псковичей живёт в вонючих трущобах. Сын саратовского прокурора, гоняя на позолоченном “бентли”, сбил мать с ребёнком, но был освобождён от ответственности. В Красноярском крае сгорели два дома инвалидов вместе с обитателями — так администрация решает проблему ветеранов. В моей штаб-квартире было найдено подслушивающее устройство, похожее на ухо Чегоданова. Неужели он хочет услышать, как я называю его подлецом?”

Эта запись в блоге напоминала едкую каплю, которую Градобоев впрыснул в плоть невидимого моллюска, обитавшего в перламутровой раковине интернета. Капля ужалила, моллюск сжался, по нему побежала судорога. Он сокращался, пульсировал. В нём возникали вздутия, он раздувался, становился громадным. Искрился, сверкал, таинственно вспыхивал, источал радуги. Интернет напоминал ночной океан, в котором колыхалось светящееся чудовище, расплескивая призрачные волны света.

Градобоев чувствовал жизнь чудища, сплошь покрытого миллионами крохотных глаз, безмолвно растворявшихся ртов. Мог управлять его перистальтикой, будить среди ночи, мучить больными уколами. Мог с его помощью поднимать в океане бурю, опрокидывающую жалкие челноки и судёнышки чиновничьих репутаций, рвать дамбы, возводимые кремлёвскими политиками, вздымать цунами, обрушивая удары на кремлёвские стены, за которыми в страхе притаился его враг Чегоданов.

У Градобоева не было танковых колонн и воздушных армий, секретной полиции и отрядов ОМОНа. У него был маленький блог, который был могущественней “ядерного чемоданчика”, мог сокрушить власть, истереть в порошок кремлёвские башни, растворить в едкой кислоте идеологию государства.

Интернет был его партией, его политическим оружием, его стихией, которой он умел управлять, как древние колдуны управляли землетрясениями и потопами, сметая с лица земли непокорные царства.

В кабинет вошла пресс-секретарь Елена Булавина. Он покидал интернет, как покидают ночной океан, выходя на берег из маслянистых светящихся волн.

— Подойди ко мне, — протянул к ней руки. Она подошла, улыбаясь, и он, не вставая, обнял её бёдра, прижался лицом к дышащему животу. Чувствовал её силу, аромат духов, прелесть доступного тела. Она смотрела сверху смеющимися зеленоватыми глазами.

— Сегодня у нас три интервью, и их не нужно откладывать, — сказала Елена.

Первое интервью он давал журналистке из таблоида “Всё вокруг” — многотиражного “жёлтого” издания, которое читают в метро и на кухне и которое развлекает обывателя сплетнями, слухами и скандалами. Журналистка была длинноногая, на высоких каблуках, в короткой юбке. Шары груди сочно выкатывались из тесной блузки. В матовой ложбинке золотился пикантный крестик. Огромные, как у целлулоидной куклы, глаза были окружены пышными накладными ресницами. Надувные губы в маслянистой помаде, казалось, были готовы к поцелуям. Округлые движения бёдер, ярко-красный пластмассовый пояс, волосы, которые она поминутно отбрасывала назад, — всё это делало её похожей на танцовщицу, начинающую свой сладострастный танец у хромированного шеста.

— Вы позволите, господин Градобоев? — она уселась перед ним, забрасывая ногу на ногу, так что открылись кружева её белья. — Мы можем начинать? — она положила на стол маленький диктофон с мерцающей каплей индикатора, приблизила к кнопке палец с красным ногтем. — Итак, мой первый вопрос. Что вы будете делать через час после вашего избрания президентом?

Градобоев жадным взглядом блестящих глаз осмотрел её, будто подобрал, и она закружилась вокруг хромированного шеста, сбрасывая юбку, блузку, кружевной лифчик, оставаясь в хрупких туфельках и тонких бикини, полногрудая, с плотным животом и развеянными волосами.

— Через час после избрания я прикажу арестовать всех жуликов и воров в правительстве, правящей партии и администрации президента. Я устрою судебный процесс века в Мраморном зале Дома Союзов, и каждый подсудимый будет каяться перед народом: “Я, мерзкий ворюга, своровал миллиард долларов. Возвращаю деньги ограбленным мною сиротам. Заслуживаю расстрела”; “Я, гнусный мошенник, похитил два миллиарда долларов. Возвращаю их старикам и немощным. Пусть меня повесят на фонаре”.

Журналистка впитала в себя взгляд Градобоева, как медуза впитывает влагу. Повела плечами. Поправляя крестик, раздвинула вырез блузки.

— Могли бы вы пригласить меня на прогулку под фонарями, где будут висеть вору и мошенники?

— Обещаю погулять с вами по Тверской под оранжевыми фонарями, где будут раскачиваться министры, депутаты и генералы. Мы будем с вами неплохо смотреться.

Журналистка быстрым языком облизала губы, обольщая Градобоева покачиванием красивой ноги, глубоким вдохом, от которого груди почти выкатились из тесного шёлка.

— Наши читатели знают вас как страстного оратора и бесстрашного политика. Но какой вы человек? Например, какие женщины вам нравятся?

Градобоев испытал моментальное слепое влечение и остановился в своём вожделении. Звериным нюхом почувствовал опасность. Так лесной чуткий зверь среди запахов древесной коры, ароматных цветов, пахучих подземных грибов улавливает кисловатый запах железа, угадывает присутствие капкана, слышит дуновение смерти. Осторожно огибает гиблое место. Градобоеву был известен коварный приём ФСБ, когда врагу режима присылалась соблазнительная женщина, увлекавшая неосторожного мужчину в свою спальню. А потом в интернете появлялись картинки, где герой оппозиции предстал в своих бесстыдных забавах. Градобоев угадал в искусительной жур-

налистке посланницу спецслужб, и это открытие развеселило его. Он делал вид, что очарован и оболещён.

— Вы спрашиваете, какие женщины мне нравятся? Длинноногие. С грудью, которую не нужно рассматривать в увеличительное стекло. С волосами, в которых гуляет ветер. И с глазами, ну, такими, какие у вас! — он восхищённо смотрел на неё.

— А какие вы любите блюда? В какие рестораны ходите?

— В районе Чистых прудов есть малоизвестный рестораник вавилонской кухни. В нём подают бифштекс из знаменитого вавилонского зверя, у которого змеиная голова, передние ноги льва, а задние — птички, рыба чешуя и львиная шерсть. Зверя подают с подливкой из лепестков лотоса и почек молодого анчара.

— Боже, какой изысканный вкус! А какой досуг вы предпочитаете?

— Каждый уик-энд я летаю в Лондон по приглашению королевы Англии, и в Букингемском дворце мы играем с ней в покер или музицируем в четыре руки на клавесине, или забавляемся, стреляя друг в друга в темноте из пистолетов, как это заведено в “русской рулетке”.

— О, да вы настоящий аристократ! А каково ваше хобби?

— Я коллекционирую горные хребты, а также фантики от конфет, которыми лакомились в восемнадцатом веке. Ещё я коллекционирую нательные крестики набожных католичек.

Градобоев кивнул на золочёный крестик, удобно расположившийся на одном из великолепных полушарий.

— Что ж, я готова пополнить вашу коллекцию, — журналистка чарующе улыбнулась своими влажными надувными губами. Выключила диктофон. Протянула Градобоеву визитную карточку с крохотной цветной фотографией. — Звоните.

Когда она вышла, Елена усмехнулась:

— Ты сам похож на вавилонского зверя с птичьими ногами и кошачьей головой. Тебе нравятся такие женщины?

— Не ревнуй, — он притянул её за руку. — Смотри!

Градобоев достал ручку и на визитке под смазливой фотографией нарисовал две кости. Выкинул визитку в корзину.

Следом в кабинет был приглашён главный редактор влиятельного либерального издания “Честная газета”. Издание выходило на деньги нескольких банков и фондов, вело искусную антикремлёвскую пропаганду, соединяло все оттенки либеральных воззрений и неявно осуществляло связь российской либеральной политики с зарубежными культурными и политическими центрами. Главный редактор Луцкер был квадратный, без шеи, с жирной грудью, сальными, ниспадающими до плеч волосами. Его мясистое лицо было бурачного цвета, нос в мелких склеротических сосудах, ноздри густо заросли волосами, а борода напоминала сочную котлетку. Он был страстный, самолюбивый, обидчивый. Был награждён французским Орденом Почётного легиона и заседал в Совете по правам человека.

— Простите, опоздал. Завтракал с советником президента Стоцкого. — Луцкер протянул Градобоеву жирную ладонь, неряшливо порылся в карманах, извлекая диктофон. Тяжело рухнул в кресло, издав заросшими ноздрями звук лопнувшей автомобильной крышки. — Ну, начнём.

Градобоев зорко оглядывал визитера с лёгкой неприязнью к его неопрятному виду, демонстрируя любовь и радушие. Он нуждался в таком союзнике, как Луцкер. Выступление в “Честной газете” было престижным, делало его лидером респектабельных оппозиционеров. Говорило о том, что он, трибун и любимец площади, кумир толпы и революционер, получал благословение у старых борцов с режимом — у маститых деятелей культуры, эмигрантов, либерально настроенных банкиров и предпринимателей.

— Позвольте спросить, любезный Иван Александрович, как вы видите политический процесс в России накануне выборов? Как он вам видится с трибуны Болотной площади? И не превратится ли эта трибуна в баррикаду?

— Россия беременна революцией. Болотная площадь — это матка, где созревает эмбрион революции. Я — её акушер, готов принять роды. Крем-

лёвская власть становится всё более фашистской. Чегоданов по своей глубинной сущности фашист, и на его лбу всё отчётливее проступает свастика. Он точит скальпель, чтобы зарезать революцию в чреве. Или, как царь Ирод, заколоть родившегося младенца. В ближайший месяц революционный народ столкнётся с фашистской властью. И это произойдёт сразу же после фальшивых выборов, где у меня украдут победу.

Было видно, что ответ понравился Луцкеру. Его синие глазки ярко забегали на красном мясистом лице.

— Так почему же, скажите на милость, на Болотной площади рядом с вами я не вижу “левых”, националистов, представителей подавляемых меньшинств, мусульманских активистов, звёзд шоу-бизнеса? Почему вы не призовёте их себе на помощь? Ведь все согласны, что вы единственный конкурент Чегоданову.

— Я рад был бы увидеть их рядом с собой. Передаю через вашу замечательную газету, что я готов потесниться на трибуне и предоставить им почётное место. Русская революция, которая начинается, не является “оранжевой”, как утверждает Чегоданов. Она многоцветна — алая, золотая, бирюзовая, белая, изумрудная. Она, как праздничный салют, как цветочная клумба. Революцией руководит не один лидер, а букет лидеров. Давайте соберём этот букет. И либо вместе отпразднуем мою победу на выборах, либо вместе возглавим революцию.

Луцкер покраснел, сочно шевелил губами, шумно дышал и выглядел, как человек, перед которым поставили тарелку вкусной еды. Он её нюхал, глотал, смаковал, впитывал сладкие соусы, поглощал острые приправы. Этой пищей был Градобоев. Его вдыхал и вкушал опытный гастроном, и Градобоев не противился этому поеданию. Луцкер, поглощая кушанье, сам был едой, которую поставили на стол Градобоеву. В политике все, даже соратники, не явно поедает друг друга. И все политическое поле усеяно скелетиками обглоданных неудачников.

— А теперь позвольте спросить. Что всё-таки будет, если Чегоданов, вопреки всем замерам его низкой популярности, благодаря выборным подтасовкам и махинациям, победит? Как вы себя поведёте?

— Призову народ к восстанию. Вот тогда трибуна Болотной площади превратится в баррикаду, — эффектно произнёс Градобоев. Елена, любуясь своим кумиром, кивала, её лицо стало пунцовым от восхищения.

— Но позвольте пофантазировать. Повторяю, это только фантазия, только гипотеза, и не более, — Луцкер закрыл синие глазки, сделал глубокий вдох, отчего его тело расширилось, кожа натянулась, и он стал похож на гриб “дедушкин табак”, который, лопаясь, извергает из себя коричневый дым. — Предположим на минуту...

Градобоев чутко замер, услышав едва различимый толчок, предвещающий главное содержание беседы, объяснявший, почему маститый редактор пожаловал к нему сам, а не прислал корреспондента.

— Предположим, начнётся восстание, и улицы покроют баррикады, и, быть может, упаси Господь, на московских площадях прольётся кровь. Что, если действующий президент Стоцкий объявит выборы недействительными, назначит перевыборы? По Конституции, в этих новых выборах вы не сможете участвовать, и ваше место займёт другой. В том числе и ныне действующий президент Стоцкий. Быть может, вы бы согласились отдать ему свой голоса, свой потенциал, а он, став президентом, приблизил бы вас к себе. Предложил портфель министра или даже назначил премьер-министром. Вы молодой политик с президентским будущим. Вам полезно пройти школу премьера, понять истинные пружины власти.

Это прозвучало неожиданно, но Градобоев не выдал своих чувств даже дрожаньем зрачков. Ему предлагался договор с президентом Стоцким, который, прожив унижительные четыре года под властной дланью Чегоданова, решил предать своего друга, сбросить оскорбительное иго, взять реванш за все унижения. Градобоеву предлагалось стать участником вероломной интриги, решавшей судьбу власти.

— Вы понимаете, это только журналистское предположение, — произнёс Луцкер, выпуская из ноздрей жаркий воздух.

— Политика вступила в такую фазу, что возникает множество вариантов развития. И каждый из них осуществим. Иногда мне кажется, что не мы делаем политику, а она формирует нас. И ей выбирать, каким путём двинется русская история, — ответ был уклончив, и в своей неопределённости содержал предложение ещё раз вернуться к этой гипотезе. Умный и чуткий Луцкер прикрыл и снова раскрыл свои синие глазки. После нескольких незначительных вопросов он выключил диктофон.

— Всё-таки лучше встречаться не на баррикадах, а за стойкой бара, — он выкатился из кабинета, переваливаясь на коротких ногах.

— Ну, как тебе нравится? — Градобоев обратился к Елене, которая что-то быстро писала в блокнот. — Не исключаю, что вскоре у меня состоится тайная встреча с президентом Стоцким. Что ты на это скажешь?

— Я плохой советник, у меня нет политологических прозрений. Я люблю тебя и тонко чувствую, где тебя подстерегает опасность. Рядом с тобой должен находиться человек, который понимает всю огромную машину власти, знает её потаённые пружины и кнопки. Поможет тебе нажать самую нужную кнопку, чтобы машина последовала твоей воле, и не нажать ту, что вызовет взрыв.

— Согласен, дорогая. Я действую наощупь, в потёмках. Но пока что, согласись, безошибочно. Кто у нас следующий?

Следующим был корреспондент “Нью-Йорк таймс” Джеффри Стикс, молодой американец с тонкой шеей и сухими запястьями. Светлые волнистые волосы, нос с горбинкой, маленький розовый рот, свежее девичье лицо, бледные голубые глаза. Тихо смеющиеся и любезные, они вдруг холодели, становились пронзительными и почти жестокими. Ладонь, которую он протянул Градобоеву, была большая, сухая и холодная, клетчатый просторный пиджак источал едва ощутимый запах вкусного табака.

— Благодарю, что согласились меня принять. Я получил от руководства указание взять у вас интервью. Сейчас вы знамениты в России, но после этого интервью вы станете мировой знаменитостью, — он говорил на прекрасном русском языке, лишь иногда останавливаясь и выбирая правильное слово. Он был мягко ироничен, но эта ирония относилась не к собеседнику, а к себе самому.

— Для меня большая честь принимать у себя корреспондента великой газеты, — произнёс Градобоев, стараясь быть столь же ироничным и мягким.

— Похоже, России предстоит горячая зима, если судить по осенней политической температуре, — сказал американец, включая диктофон.

— Ничего удивительного. Мировое потепление климата. У вас на Манхеттене плавятся стекла. Нил кипит. А Греция похожа на раскалённую сковородку.

— И всё-таки этот протестный взрыв в России произошёл очень внезапно. Всё было тихо, спокойно, люди терпели, и, казалось, нет конца этому русскому терпению. И вдруг — взрыв. Что случилось?

— Россия — страна великого терпения и великих взрывов. Народ терпел империю Романовых триста лет и сбросил её в три дня. Советская империя длилась семьдесят лет и казалась вечной, но её сдуло в три дня. Такие уж ветры в России, и такие империи.

— Но господин Чегоданов казался несомненным национальным лидером, и его избрание президентом не вызывало сомнения.

— Всё это в прошлом. Теперь у России другой национальный лидер.

Градобоев слегка рисовался перед Джеффри Стиксом, видя, что тому это нравится, вносит в политическое интервью элемент игры. Маленький розовый рот корреспондента сдержанно улыбался. Голубые глаза смеялись.

— И всё-таки нам, на Западе, не очень понятна цель оппозиции. Её идеология, программа. Чего вы добиваетесь, выводя на площадь десятки тысяч людей? Поражения на выборах Чегоданова? Своей победы? Но ваша программа многим кажется популистской, абстрактно революционной. Ваше

правление может оказаться не лучше Чегоданова. Как говорят в России: “Хрен редьки не слаще”.

— Наша цель — свобода. Недопущение авторитарной власти, предотвращение диктатуры. Мы стремимся создать в России общество европейского типа с независимыми судами и свободным многопартийным парламентом. На этом сходятся все представленные в оппозиции силы. И я выражаю эту общую точку зрения.

Глаза американца потемнели, в зрачках появились блестящие чёрные точки. Губы сжались, превратившись в маленький пунцовый бутончик. Горбинка на носу порозовела, а сам нос стал подвижным и чутким.

— Каким вы видите экономический уклад будущей России в случае, если судьба улыбнётся вам, и вы станете президентом?

— У нас сохранится свободная экономика, избавленная от гнёта чиновников. Мы привержены мировому разделению труда, оставляя за собой традиционные для нас рынки. Мы будем способствовать интеграции нашей экономики с западной развитой экономикой.

Джеффри Стикс, казалось, не довольствуется записью диктофона, а ведёт какую-то свою потаённую запись, отыскивая в словах Градобоева глубинный смысл. Этот смысл он добывал всеми органами чувств: пронзительными мерцающими зрачками, сжатым розовым ртом, превратившимся в присоску; чутким, тонко вдыхающим носом, покрасневшими мочками маленьких ушей; кончиками пальцев, которые он направлял в сторону собеседника, словно ловил исходящее от Градобоева излучение. Градобоев понимал, что его изучают, делают психологический портрет. И этот портрет пополнит досье, которым оснастил себя американец, направляясь на встречу с ним.

— Почему, как вы считаете, в России столь сильны антиамериканские настроения?

— Не сильнее, чем в Европе и остальном мире. Россия оказалась разгромленной в “холодной войне”, и антиамериканизм — это комплекс проигравшего. Чегоданов поддерживает в народе этот комплекс, чтобы создать из Америки “образ врага”. Мы будем всячески этому противодействовать и, не сомневаюсь, мы преодолеем этот комплекс.

— Не кажется ли вам, что Россия вступает в неоправданную гонку вооружений? Слишком большие деньги тратятся на создание бомбардировщиков, подводных лодок и танков. Ускоренно обновляется парк стратегических ракет. С кем собирается воевать Россия?

— Это всё тот же, свойственный Чегоданову имперский синдром. Недавно один из моих друзей-политологов сказал, что если бы Россия вообще отказалась от ядерного оружия, то исчезли бы разделяющие нас с Америкой противоречия и опасения. Мне кажется, над этим тезисом стоит подумать.

Американец был сверхмощной ЭВМ, тщательно замаскированной под обаятельную джентльмена в клетчатом пиджаке. Под этим пиджаком что-то тихо шелестело, мерцало, бежали бесконечные ряды цифр. Образ Градобоева, его слова превращались в электронную кривую, в моментальный импульс. Через коммуникационный спутник попадал в секретную штаб-квартиру, где сверялся с другими импульсами, другими прихотливыми кривыми. И другой джентльмен, в таком же клетчатом пиджаке, с такой же горбинкой носа извлекал из принтера листок с аналитической информацией.

Градобоев чувствовал, что решается его политическая судьба. Невидимый арбитр, долго наблюдавший за ним, теперь выставляет ему оценку. И от этого зависит, подключатся ли к нему незримые мировые силы, возводящие и низвергающие политиков, создающие и разрушающие государства. Или он не выдержит тест, и его сдует, как тополиный пух.

— Как будет развиваться внешняя политика России? Ведь до сего дня Чегоданов балансировал между Востоком и Западом, между Америкой и Китаем. Но, кажется, теперь мир подходит к своей критической черте, когда необходимо сделать выбор.

— Не стану лукавить. Китай является для нас стратегическим противником. Он занёс свою жёлтую длань над Дальним Востоком и Сибирью, и без помощи Запада нам не удержать территорий. Мы готовы сотрудничать

с Америкой в республиках Средней Азии, не станем препятствовать созданию там американских военных баз. И, в случае необходимости, мы готовы рассмотреть вопрос о создании американской военной базы в Приморье.

Джеффри Стикс замер, словно в нём на мгновение остановилось сердце, и невидимый объектив сделал стоп-кадр. Вновь ожил, мило заулыбался, сжал пальцы, убрав внутрь кулака расположенные на их кончиках приборы. Задал ещё несколько незначительных вопросов и выключил диктофон.

— Господин Градобоев, как бы вы отнеслись к тому, чтобы пообедать с нашим послом в Москве господином Кромли?

— Для меня это высокая честь. Однако вы понимаете, как пошатнется моя репутация, если о такой встрече станет известно?

— Мы отдаём себе в этом отчёт. Обед будет проходить в резиденции посла Спасхауса без афиширования.

— Я жду приглашения.

— Считайте, что вы его получили. О времени вас известят, — американец поднялся — высокий, с длинной шеей, с милой улыбкой на маленьких розовых губах.

Когда он вышел, Градобоев шумно повернулся к Елене:

— Ты понимаешь, что это было? Кто он, журналист или психолог ЦРУ?

— Я тебя поздравляю, — взволнованно сказала Елена, — Это рубеж в твоей политической карьере. Тебя приглашают к послу на смотрины.

— Ты помнишь тот знаменитый вояж Горбачёва в Англию, где ему устроила смотрины Тэтчер? И ту поездку Ельцина в Сиэтл, где он прошёл тест на будущего президента России? Похоже, американцы рассматривают меня всерьёз как будущего президента.

— Ты и есть будущий президент.

— Этому американцу я говорил не то, что я думаю, а то, что он должен был услышать.

— Ты мастер дипломатических формулировок.

— Ты согласна, что я знатная птица?

— Ты великолепная знатная птица. Я бы сказала, жар-птица.

Градобоев крутанулся на каблуке, обхватил Елену за талию и поцеловал в голую шею. Интернет бушевал от его послания, как лесной пожар, расплёскивая во все стороны огненные брызги. И там, куда падала капля огня, возникал новый очаг пожара. Красивая развратница на длинных ногах унесла его весёлые шутки в свой многотиражный таблоид, и миллион обывателей уткнётся своими рыбьими глазами в его портрет. Похожий на лесной гриб Луцкер, опасный интриган и лукавый сплетник, передал ему зашифрованное послание от президента Стоцкого. И этот хлыщеватый журналист из “Нью-Йорк таймс” был гонцом могущественного посла, поддержка которого сулила ошеломляющий успех. Первая половина дня прошла превосходно, и можно было теперь пообедать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Градобоев и Елена обедали в соседней комнате, куда официант принёс из ресторана накрытые крышками блюда. Осетровая уха с ломтями янтарной рыбы была чудесной. Телячий стейк был свеж и едва сочился кровью. Золотистое шабли нежно булькало, проливаясь в бокалы. Елена смотрела, как ест Градобоев. Он делал это, как и всё остальное, — быстро, порывисто. Почти не пережевывал пищу, а глотал её, как сильный голодный зверь. Громко разгрыз хрящ. Жадно отпил вино. Отёр влажные губы салфеткой и отбросил её так, что она упала на пол.

Всё это возбуждало Елену, она восхищалась его неукротимой стихийной силой, которая делала Градобоева президентом бунтующих масс, тоскующих по силе, отваге, мужественной воле. Казалось, Градобоев давит своей мощью на бущущую вокруг него жизнь. Оставляет в ней вмятины, раздвигает, прокладывая в ней коридор. Елена движется вслед за ним по этому коридору среди ревушей по сторонам опасной стихии.

Она как-то в шутку сравнила его с Моисеем, перед которым расступилось Чермное море, и истомлённый, алчущий обетованной земли народ прошёл по сухому дну. И она идёт за ним следом по этому открывшемуся, в ракушках и водорослях, дну с остатками затонувших кораблей. И обетованной целью, которая влечёт их обоих, служит Кремль, его розовое чудо, его мистическое золото, его волшебный магнетизм.

— Я прохожу очень опасный и увлекательный момент, — говорил Градобоев, отпивая вино. — Мировое еврейство, которое следит за процессами в России и участвует в них напрямую, кажется, готово сделать на меня ставку. Моё письмо к опальным банкирам в Лондон имеет самый положительный отклик, и это сулит мне неограниченное финансирование. Либеральные группы в окружении Чегоданова, олигетворяемые президентом Стоцким, готовы со мной сотрудничать, а это удар в спину Чегоданова. И главное — американский посол, этот еврей-русифил, декламирующий по-русски Пушкина, приглашает меня на свидание. Еврейская мировая энергия в очередной раз готова питать русскую революцию. Но она опять ошибётся, — он засмеялся и сделал крупный глоток вина.

Елена с обожанием глядела на Градобоева, который представлялся ей кудесником, сжимавшим драгоценный сосуд. В этот хрустальный сосуд вливались разноцветные напитки, светоносные настои. Смешивались, бурлили. Меняли цвет — от золотого и нежно-лазурного до зловеще-фиолетового и кроваво-красного. Выпадали таинственные осадки, вырастали причудливые кристаллы. И чем кончится эта алхимия — возникнет ли дивный, невиданной красоты самоцвет или случится оглушительный взрыв, который погубит сосуд и алхимика?

— Верю, мой милый, что твоя интуиция позволит тебе разглядеть все опасности. Ты — не марионетка банкиров и послов-русифилов. Ты — национальный лидер, выражающий волю народа.

Ей было сладко произносить эти слова. Сладко знать, что её обожание питает его, необходимо ему. Она освещала его своей страстной женственностью, и он переливался в её лучах. Она создала его образ как воплощение силы, победной энергии и мужественной красоты. И предлагала этот образ другим, приглашая на встречи с ним дружественных журналистов, знакомых писателей и художников, которые, находясь под её обаянием, писали статьи и эссе о восходящей русской звезде.

— В том-то и тонкость, моя дорогая. Есть идеология власти, а есть политехнология. Эта капризная девушка предполагает бесчисленные компромиссы, построенные на лукавстве, обмане, уловках. И суть политики в том, чтобы политехнология не растворила в себе идею. Иначе лидер становится жалкой песчинкой в руках мировых силачей. Ленин использовал еврейскую энергию и взял власть. Но сохранил ли он при этом идею?

Она не понимала его до конца. Не вникала в тайны его страхов, его мгновенных сомнений. Она воспринимала его целостно, как скульптуру, в которой не видны внутренние вкрапления, прожилки, изъяны материала. А только великолепная пластика — плод работы искусного скульптора, которым она сама и была. Она создавала эту совершенную скульптуру, продолжая привносить в неё последние штрихи совершенства.

— Ты знаешь, мой милый, как я стараюсь тебе помочь. Я верю в твою звезду, в твою победу. Весь мой опыт, мою любовь, мою веру я посвящаю тебе. Но рядом с тобой нет человека, который был бы тебе советником во всех политических хитросплетениях. Кто бы знал в совершенстве устройство кремлёвских лабиринтов, нити и струны, связывающие кремлёвскую знать. Кто умел бы играть на этих струнах.

— Но такого человека нет рядом с Чегодановым. Был Бекетов, но самодовольный Чегоданов отправил его в ссылку. И сразу просел, стал совершать ошибку за ошибкой. Кстати, кажется, у тебя с Бекетовым был роман?

— У меня роман только с одним человеком. С тобой. Я открою тебе. Мне приснился вещий сон. Будто ты президент, твой кортеж мчится по московским улицам сквозь Триумфальную арку, и народ кидает тебе цветы. Тыходишь в Кремль, в тронный зал и приносишь присягу на Конституции. А я стою

среди генералов, министров, самых знатных людей, и сердце моё ликует. Ты видишь меня и улыбаешься, и все знают, что ты улыбаешься мне.

— А кому же ещё? Ты первая леди. Ты самая красивая, самая умная, самая знаменитая женщина России.

— Я хочу заказать твой портрет какому-нибудь прославленному художнику. Может быть, Илье Глазунову с его величественной имперской манерой. Пусть нарисует тебя на трибуне под осенним московским небом, перед туманным Кремлём, и над тобой сверкает бриллиант.

Он счастливо, жадно смотрел на неё. Встал и отбросил стул. Она поднялась навстречу. Он сжал её, стал раздевать, путаясь в молнии, обрывая неловко пуговицы. Она стояла перед ним обнажённая, торжествуя, чувствуя свою власть над ним, а он целовал её шею, плечи, грудь, прижимался горячим лицом к животу, бёдрам, коленям. Нетерпеливо и сильно опустил на диван, и она видела, как он стягивает, почти сдирает с себя рубаху, как напрягаются на его плечах сильные мускулы, как блестит золотой нательный крестик.

Он был жаден, неистов, грубо мучил её. Она терпела его насилие, видела близко над собой его трепещущие белки, приоткрытый рот с крепкими мокрыми зубами. И когда невыносимое и сладкое страдание расплавило всю зримую явь, и его безумное лицо превратилось в бестелесную вспышку, из этой вспышки вдруг возникло другое лицо: светлый высокий лоб, платиновая седина на висках, светящиеся тайной глаза.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Елена выполняла наказ Градобоева, который хотел привлечь к себе лантливых художников и поэтов, чтобы те привнесли в протестные манифестации творческую фантазию. Превратили политический митинг в театральное действие. Она направилась в галерею, где проходила вернисаж модного художника Скороходова, мастера авангардной скульптуры. Там должны были появиться живописцы, дизайнеры, арткритики, поэты-нонконформисты — вся московская художественная богема, среди которой у Елены было много приятелей.

Она вела свой изящный автомобиль “опель-вектра” по сырым московским улицам, стиснутая со всех сторон скользящими машинами, красными и белыми вспышками, нервными мерцаниями. Раздражалась видом размытых в дожде фасадов, назойливых реклам, безвкусных вывесок, за которыми вдруг возникал сиротливый ампирный особняк или новомодный дом — скопище нелепых башенок, арок, колонн. И только раскрыв над собой зонтик и перебегая тусклые лужи, она обрадовалась, предвкушая встречу с милыми сердцу знакомцами, с их абсурдистскими фантазиями.

Выставка известного мастера Скороходова называлась “Стань птицей”, о чём извещал плакат с портретом Скороходова, и впрямь похожего на изумлённую, нахохлившуюся птицу: круглые глаза, заострённый нос, гребнем стоящие волосы. Галерея располагалась в помещении бывшего трамвайного депо, и дизайнеры сохранили кирпичную кладку стен, железные балки перекрытий, остатки трамвайных рельсов, врезанных в бетонный пол. Елена, оказавшись в просторном, грубо и хлётко оформленном зале, испытала радостное волнение, сохранившееся с тех дней, когда она содержала небольшую модную галерею, собиравшую весь бурлящий и экстравагантный авангард. Теперь она бегло и счастливо осматривала экспозицию, переходя от одной фантастической птицы к другой.

— Бог мой, Елена Прекрасная! — приветствовал её чернобородый художник с большим лысым черепом, обнимая и слишком тесно к ней прижимаясь. Его большие холсты с волшебными цветами пользовались успехом на европейских выставках. — Сколько лет, сколько зим! А мы думали, что тебя увёз в иммиграцию Бекетов, и ты открыла галерею на Манхэттене.

— Как видишь, нет, — Елена освободилась из его рыхлых объятий. — Мой удел — русские помойки и свалки.

— Мы не жалуемся, — засмеялся маленький изящный художник с влажными восточными глазами и с серебряным перстнем. Это был мастер поп-арта, чьи работы наполняли музеи мира. — В России всё больше помоек и свалок. У меня есть проект превратить одну из подмосковных свалок в портретную галерею современных политиков. Депутаты из пластиковых бутылок, сенаторы из пищевых отходов, генералы из гигиенических пакетов.

Елена любила это экзотическое, капризное, животворящее племя, являвшее собой дружное сообщество творцов, безобразников, бескорыстных мечтателей, неумолимых выдумщиков, так не похожих на тусклых обывателей или алчных стяжателей, однообразных кликуш и жёлчных ненавистников. Художники, с которыми она водила дружбу, могли быть пьяницами, курильщиками тонких ядов, мелочными в обидах, но никогда — мрачными дельцами, фанатичными исповедниками, жестокими гонителями. Они были терпимы, ироничны, мечтательны, держались тесной стаей, где каждый узнавал другого по переливу пера, птичьему свисту, изысканному полёту, который часто кончался трагическим кувырком под дулом смертоносного ружья.

— Когда ты была с Бекетовым, от тебя была польза, — произнёс художник в азиатской шапочке и неряшливой хламиде с пёстрым пояском. Он провалился инсталляцией на тему террористических взрывов в Москве. — Ты приводила к нам богатых клиентов с Рублёвки. А теперь, когда ты крутишься среди оппозиционеров, кого ты можешь к нам привести? Твой Градобоев любит Шилова и Глазунова, готовых увековечить его неистовый лик.

— Ты не прав. Я раздобуду для вас роскошный заказ. Под него есть деньги, нужны мастера. Через месяц состоится грандиозный митинг оппозиции. Превратите его в перформанс. В вашем распоряжении площадь, толпа, знамена, транспаранты, фаеры, мегафоны, прожектора. Создайте зрелище, как при открытии Олимпиады.

— Легко, — хмыкнул крепыш с русыми кудрями, чьи руки были чёрными от металла, сварки, едких кислот и мастик, — Оденем твоего Градобоева в костюм инопланетянина и спустим его на трибуну с аэростата.

— Лучше в горностаевой мантии, с короной на голове.

— А может, в облачении Ильи Пророка, который вернулся на Землю?

Художники, которых позабавило предложение Елены, стали фантазировать, то ли шутя, то ли серьёзно. Елена смеялась, аплодировала, смотрела на летящий пух. И вдруг среди зрителей, со страхом и неверием, увидела знакомое лицо: высокий лоб, платиновая седина на висках, серые внимательные, устремлённые на неё глаза. Бекетов стоял в толпе, словно явился из бесплотной вспышки, из слепящих лучей, из её грешных побуждений и запретных видений.

Они сидели в маленьком артистическом кафе в дальнем углу галереи, среди тех же кирпичных стен, железных балок, врезанных в пол рельсов.

— Спасибо, что подошла, не убежала, увидев меня, — говорил Бекетов, виновато и робко поднимая на Елену глаза.

— Ты искал меня? Не случайно оказался в галерее?

— Я помню, что ты стараешься не пропускать вернисажи. Помню, что Скорыходов твой приятель.

— Зачем же ты меня искал? — спросила она отчуждённо, испытав внезапную неприязнь, столь сильную, что готова была встать и уйти.

— Мне хотелось увидеть тебя.

— Да что ты говоришь? Захотелось увидеть? Захотелось вдруг повидаться? А когда ты уехал, не попрощавшись со мной, когда ты прислал мне это бесчеловечное письмо, так и не удосужившись объяснить?.. И это после всего, что нас связывало! После всех твоих уверений! И вдруг теперь — повидаться? — Она испытывала жёлчное отчуждение. Её горечь, негодование, оскорблённое самолюбие воскресли, и ей хотелось сделать ему больно, уязвить, сказать что-нибудь оскорбительное и надменное, а потом подняться и уйти.

— Я знаю, что виноват. Но у меня не было сил поступить иначе.

— Ты решил, что у меня избыток сил? И поэтому предоставил мне читать твоё прощальное послание? С твоими обычными виртуозными оборота-

ми речи, которыми ты когда-то меня очаровывал, признавался в возвышенной любви, а теперь отсылал меня от себя, всё так же изысканно и изящно? — Она едко смеялась, видя, как её слова ранят его, и он потерянно и беспомощно старается ей возразить.

— Я потерпел крах. Меня накрыла тьма. Я не хотел брать тебя в мою тьму.

— Но почему ты меня не спросил? Может быть, я бы захотела идти за тобой во тьму? Может быть, тьма с тобой для меня была дороже, чем солнечный свет без тебя? Когда я прочитала твоё письмо, я хотела кинуться за тобою вслед, но не было обратного адреса. Потом я поняла, что ты бросил меня, и почувствовала к тебе ненависть, желала, чтобы моя ненависть настигла тебя, ударила в спину, и ты погиб. Потом я захотела забыть всё, что нас связывало, испепелить наши чудесные дни. Я сожгла письмо, и ветер из окна разнёс пепел по комнате. Потом я ужаснулась, что наше чудесное время, наши путешествия, безумные и счастливые ночи, восхитительные разговоры — всё это пропало бесследно. Я стала ползать по полу, собирала пепел. Плакала над ним, целовала, веря, что молитвой и слезами можно всё воскресить, и ты вернёшься. Но ты не возвращался. И понемногу я смирилась, отодвинула прочь всё, что с тобой было связано. Для меня началась другая жизнь, появился другой человек, которому я верю, которому служу.

Она вдруг заметила, что не желает уходить, хочет остаться, получить от него запоздалое объяснение. Хочет сама объясниться. Что их исчезнувшие, прерванные отношения вовсе не исчезли, а длятся и после того, как он покинул её. И для того, чтобы эти зыбкие длящиеся отношения, наконец, прекратились, чтобы она сбросила с себя бремя этих оборванных отношений и целиком отдалась своей новой судьбе, — для этого необходимо с ним объясниться.

Она видела, как страдает Бекетов, как мучительно сдвигаются его брови, бегают неуверенные глаза. И эта растерянность доставляла ей удовольствие. Он, обычно страстный, готовый проповедовать, убеждать, уверенный в своей правоте, теперь был слаб и растерян. Был слабее её, и она торжествовала.

— Ты права, я виноват. Я оказался никчёмным, ни на что не способным. Не сумел преуспеть в своих государственных проектах и замыслах. Оказался недостойным тебя. Проиграл повсюду. Я пораженец.

Ей вдруг стало жалко его слёзной жалостью, которая, как плеснувшая волна, смыла недавнее торжество. Она пристально, с недоумением и состраданием, рассматривала его близкое лицо, обнаруживала больше металлической седины в волосах, новые тонкие морщинки у глаз и у губ. Его глаза были такими же светлыми и глубокими, но в этой лучистой глубине появились тёмные тени — след неизвестных ей тревог и разочарований. Ей захотелось узнать, как протекали его годы без неё, какие раздумья, словно тёмные камни, погрузились в светлую глубину его глаз.

— Как ты жил эти годы? — спросила она. И он откликнулся на её страдание торопливым признанием. Словно спешил высказаться прежде, чем снова набегит на них туча, и всё, что на мгновение вспыхнуло и засверкало, снова померкнет.

— Ты знаешь, что вся моя жизнь, весь её смысл был в служении государству. Не Чегоданову, не Кремлю, а Государству Российскому, которое в девяностых годах потерпело страшное поражение. Оно должно было погибнуть безвозвратно. И я спасал его, сражался за него на невидимой войне, и приближал, вымалывал, выкрикивал Русскую Победу. Русская Победа — мой символ веры, моя философия, моя религия. Когда я пришёл в Кремль к Чегоданову, работала страшная машина разрушения, уничтожавшая последние остатки “красной империи”. Хрустели её кости, трещали разрываемые сухожилия и мышцы. Гибли гигантские заводы, разрушались великие научные школы, разорялись гнёзда культуры. Я убедил Чегоданова начать крошечную работу по сбережению государства, вдохновил его пророчествами о Русской Победе. Я начал ломать машину разрушения. Исподволь устранял её операторов, извлекал из неё то одну, то другую деталь. Я менял те-

леведущих и редакторов газет. Тонкими операциями сеял рознь среди ненавистников страны. Спасал от гибели истинных государственников, которых шельмовали, травили, отстраняли от дел. Чегоданов был силен, прозорлив, исполнен честолюбия, верил в своё мессианство. Восемь лет — два его президентских срока — прошли в подготовительной работе, когда страна была готова к рывку, к преображению. Были собраны в казне громадные деньги. Была воспитана гвардия, способная совершить рывок. Была теория этого грандиозного рывка. Был план, согласно которому всей стране, всему народу будет послан сигнал о начале наступления, возведена великая цель, прозвучат искренние, идущие от сердца слова. Слова о неизбежной Русской Победе. Дело оставалось за малым. Чегоданов должен был пойти на третий срок президентства. Не пренебречь Конституцией, а сделать несколько лёгких штрихов, едва ощутимых поправок в этой толстенной книге в переплёте из шкуры кенийского козла. Я убеждал Чегоданова, умолял, угрожал, сулил ему политическую и физическую смерть. Всё напрасно! Он испугался, послушал других советников, послушал своих европейских и американских друзей, с которыми встречался в узком кругу властителей мира, веря в их дружбу. Он не пошёл на третий срок, а выпустил вместо себя дрессированную говорящую куклу, Стоцкого, который наполнил Кремль дымом бессмысленных слов, мишурой бесцветных поступков. А Чегоданов устранился от власти. Его словно опоили зельем. Он вдруг увлёкся заморскими странствиями, катаньем на яхтах, строительством дворцов, увлёкся женщинами, лошадьми, экзотическими видами спорта. И словно забыл о стране, которая стала падать и рушиться. Вернулись в Кремль те, кого я удалил; появились на экранах те, кого я отсёк. Они брали реванш за свое поражение и набросились на меня. Чегоданов не захотел меня защищать. Он отдал меня на растерзание врагам, и я после нескольких с ним объяснений, после нескольких бурных ссор ушёл. Убежал в захолустье и скрылся. Признаюсь, скрылся и от тебя, боялся твоего презрения, твоего отчуждения. Ты ведь привыкла видеть меня на коне, вдохновляла меня в моих победных ристалищах, верила в мою звезду. Говорила, что это и твоя звезда. Но эта звезда погасла. Вокруг меня была тьма. И поверь, я не хотел, не мог увести тебя в мою тьму. Не хотел уподобиться скифскому царю, который в свой смертный курган увлекает любимую женщину, любимого коня, любимый кубок и меч...

Елена слушала его горькую исповедь, и не было в ней обиды, а лишь страдание. Тот, кого она когда-то любила, гордый и изощрённый, истинный, а не мнимый повелитель страны, кудесник интриг, волшебник изощрённых уловок, для одних — исчадие ада, для других — обожаемый идол, этот любимый человек был раздавлен, и некому было поцеловать его тихо в глаза, положить невесомо ладонь на его дышащую грудь. Некому было пробежать босиком по холодному полу, распахнуть на окне занавеску, чтобы огромные земные звёзды вдруг всем своим восхитительным блеском хлынули к нему в тёмную спальню. И его лицо на подушке, и бокалы с недопитым вином, и огромное зеркало кажутся дивно серебряными...

— Я уехал в глушь, в крохотный городок. Затворился, как монах в келье. Ни знакомых, ни телевизора, ни интернета. Только старушка-хозяйка и настоятель монастыря отец Филипп. Русская классика, книги, которые в юности не успел прочитать. “Казачи” Толстого, когда герой ложится в мятую траву, где только что лежал лось. “Евгений Онегин” — такое русское, любимое, данное тебе таинственной памятью, не твоей, а твоих прапрадедов. Гусь на красных лапах ступает на сизый лёд замёрзшего пруда и падает. Как это чудесно! Учение Николая Фёдорова о преодолении смерти. Значит, я могу моей молитвенной волей воскресить отца, умершего от ран после Афганского похода. Воскресить деда, погибшего под Сталинградом. Снова встретиться с мамой. И, конечно, я думал о тебе. Порывался звонить, ехать к тебе, просить у тебя прощения. Особенно ночью, когда пурга стучит в оконце, и такая тоска, такое одиночество!.. Но потом я стал заглядывать в интернет, стал включать телевизор. Боже, что творилось в стране! Всё, чего я когда-то добился, — всё пустили по ветру. Деньги, которые страна скопила для рывка и развития, — эти деньги разворовали и бездарно растратили.

Всех осмысленных людей отстранили от управления, и на их место пришли проходимцы и воры. Страну разворовывали, губили остатки государства. Всюду торжествовали мздоимцы и бездари, а эти два самовлюбленных нарцисса, Чегоданов и Стоцкий, позировали перед телекамерами, как конференсье. Изображали государственных деятелей, и от их слов веяло смертью...

Елена следила за дрожанием его бровей, мучительным блеском глаз, страстным и больным движением губ. Вслушивалась то в горестное, то в гневное звучание голоса. Эти звучания были ей так знакомы, так часто заворачивали. Увлекали в восхитительные лучезарные дали его фантазий, в тёмные бездны его роковых предчувствий, в пьянящую сладость его мечтаний. Она пугалась того, что её прошлое возвращается. Прошлое, где он был любим, обожаем, где она была счастлива и так горько обманута, — прошлое возвращается. Она занавесила его чёрным крепом, как занавешивают зеркало в доме умершего, а это прошлое вдруг воскресло. Всё те же серые пушистые брови, и можно было их целовать, чувствуя, как он замирает от её поцелуев. Всё та же серебристая, как песцовый мех, седина была в его волосах, и можно было вдохнуть их любимый запах. Всё та же маленькая родинка темнела на щеке, и можно было нежно её погладить, видя, как он закрыл глаза и улыбается, позволяя ей чертить на своём лице таинственные письмена. Она пугалась воспоминаний, отталкивала их, искала в себе недавнюю обиду, старалась угадать в нём вероломство, лукавый умысел, почти угадывала. Но потом опять слышала его измученный голос, видела страстные искренние глаза. Верила и внимала.

— Я видел, как всё рушится. Как термиты истачивают остатки страны. Как народ погружается в тупое бесчувствие, и его топчут, обируют, глушат, и он бессмысленно мечется среди своих смертей и несчастий. И вновь из глубин русской истории поднимается тьма, слепая жестокость и ненависть, которая готова хлынуть на площади городов, во дворцы миллиардеров, в библиотеки и храмы, и снова, в который уж раз, превратить страну в кровавое месиво. В грохот тачанок, блеск топоров, расстрельные рвы, усеянные трупами речные откосы. Но вдруг среди бессмысленных ненавидящих лиц я увидел лидера. Увидел его грозное и ясное лицо. Его живые, исполненные смысла глаза. Его способность повелевать толпой, укрощать её слепую ненависть. Его волю к власти, которую он готов использовать не во зло, а во благо. Я увидел лидера, способного спасти Россию от Чегоданова, от всего воровского и развратного племени, удержать Россию на последней черте перед пропастью, развернуть её и повести вперёд, к спасению, к воскрешению, к долгожданной Русской Победе. Монахи в своих скитах говорили, что должен явиться истинный русский лидер. Юродивые на папертях возвещали, что явится русский Спаситель с лицом младенца в чугунных веригах. И я понял, что Спаситель явился. Градобоев — тот русский лидер с наивным и верящим лицом младенца и с чугунными веригами власти, которыми его наградил Господь. Я решил вернуться в Москву и служить ему. Несколько раз я видел тебя рядом с ним. Я понял, что вы близки. Я решил тебя отыскать, преодолев мою робость, чувство вины, боясь вызвать в тебе гнев и презрение. Но, поверь, я думаю не о себе, не о моей перед тобой вине. Я убеждён, что смогу быть полезен Градобоеву. Я знаю Кремль, знаю кремлёвских бесов, знаю Чегоданова. Я искущён в интригах и политических комбинациях, в которых слаб Градобоев. Я помогу ему избежать ошибок. Я помогу ему кратчайшим путём, без крови и потрясений, войти в Кремль. Я передам ему мой проект возрождения России. Представь меня ему. Ты будешь знать о каждом моём слове, каждом намерении. Я знаю, ты любишь его. Мы вместе уберём его от опасностей. Поверь мне!

Его лицо было умоляющим и одновременно настойчивым. Волевым и беспомощным. Любимым и ненавистным. Лживым и искренним. Он пришёл к ней не ради неё, не искать её любви, не умолять, не раскаиваться. Он по-прежнему был политик, виртуоз интриг, знаток огромных и страшных часов, которые своими шестернями двигали стрелки русского времени — куранты русской истории. Он сам был частью этих часов. Золотым наконечником стрелки, скользящей по чёрному циферблату. Но разве не это она в нём

любила? Не это изощрённое уменье? Не это изящное и виртуозное искусство управлять загадочной и грозной машиной? Не она ли помогала ему двигать золочёную стрелку, скользящую от одной золочёной цифры к другой? Она любила в нём хрустальные поднебесные звоны, а не глухие скрипы и скрежеты...

— Ты хочешь пойти служить к человеку, который является моим любовником? — усмехнулась Елена, — Это не будет тебе мешать?

— Мне многое будет мешать, — ответил Бекетов, опустив глаза.

В артистическое кафе после вернисажа появились художники, и с ними — главный герой, Скороходов, уже без перьев, в бархатном вальяжном пиджаке, с шёлковым бантом. На его умытом розовом лице круглились птичьи глаза, торчал заострённым клювом нос, и волосы напоминали петушиный гребень. Он было устремился к Елене, но та досадливо повела плечом, и Скороходов не подошёл. Опустился с приятелями за дальний столик и там шумел, что-то радостно вещал, весело поглядывал на Елену. Извлёк из кармана куриное пёрышко, дунул, и оно полетело в сторону Елены.

— Пойдём отсюда, — сказала Елена, вставая.

Они вышли из галереи. Наступил тёмный дождливый вечер, и Москва, недавно туманная, тусклая, с вялыми очертаниями бесформенных зданий, казалась преображённой. Чёрная, зеркальная, блистающая, она брызгала разноцветными каплями. С жёлтыми, прилившими к асфальту листьями, Москва пахла на Елену осенним хладом, запахом сырых бульваров, тем чудесным временем, когда они с Бекетовым, раскрыв просторный зонт, останавливались под деревьями, сквозь которые светили оранжевые фонари, и сладостно целовались в дожде.

— Где твоя машина? — спросила она, опьянев от этих воспоминаний.

— Я без машины.

— Я тебя подвезу.

Она вела машину среди серебряных всплесков и разноцветных радуг на черном асфальте. Москва казалась огромным зеркальным аквариумом, в котором плыли волшебные рыбы, струились цветные водоросли, загорались морские звёзды, переливались перламутровые раковины. Елене чудилось, что они ныряли в чёрные глубины, населённые мерцающими рыбами, пронеслись среди сверкающих косяков. И вдруг взлетали в лучистую высь, где кружили планеты и луны, реяли метеоры, сказочными светилками пронеслись дорожные знаки. Жёлтый кленовый лист прилип к ветровому стеклу, и Елена молила, чтобы его не сдул ветер, а когда он улетел, испытала больной укол в сердце.

Остановилась у его дома на Тверской, у сырого, в грубом граните фасада.

— Я согласна. Познакомлю тебя с Градобоевым. Вот мой новый телефон, — она протянула ему визитную карточку. Дождалась, когда он выйдет из машины и исчезнет среди зонтиков, мокрых плащей, туманных огней.

Бекетов стоял в дожде, не желая уходить в подворотню, из которой дул тяжёлый холодный сквозняк. Задуманная им комбинация удалась, но эту удачу сопровождало гнетущее чувство, будто он совершил что-то непотребное и постыдное. Мимо, опираясь на палку, шёл промокший старик, без шапки, с седыми, тяжко повисшими волосами. К его пальто прицепился зубчатый кленовый лист. И Бекетов подумал, что старик похож на еврея в гетто с жёлтой звездой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утром он обнаружил, что стебель орхидеи удлинился, наполнился соками. А один из бутонов посветлел, в его глубине напряглись лепестки — вот-вот раздвинут зелёную оболочку. И тогда раскроется белоснежный цветок. Чудесная мамина улыбка, её прекрасные глаза скажут ему, что она жива, посылает ему из райских садов свою любовь, хранит его в земной жизни своей бессмертной молитвой. Он потянулся к бутону, стал осторожно дышать на него, согревая, наполняя своим обожанием. И ему показалось, бутон слабо дрогнул, в нём шевельнулись потаённые лепестки.

Градобоев принимал Бекетова в своём штабе, в рабочем кабинете, усадив за маленький столик. Сам же оставался в кресле, отгороженный от визитера полем стола. И это, как показалось Елене, было нарочитым подчёркиванием разделявшей их дистанции. Та же подчёркнутая нарочитость была в том, как оба были одеты. Градобоев в белоснежной рубашке без галстука, в вольной артистической блузе, что подчёркивало его свободу от протокольных предубеждений, необязательный, затрапезный характер встречи. Бекетов же был в строгом тёмном пиджаке и галстуке, как и положено чиновнику, явившемуся на приём к начальству. Всё это казалось Елене ненужной театральностью, привнесённой в важную встречу.

— Польщён и, признаться, удивлён вашим визитом, Андрей Алексеевич, — иронично произнёс Градобоев, весело, с плохо скрываемым торжеством — ещё бы! — Сам канцлер, хранитель печати, явился из Кремля в укромный уголок неизвестного оппозиционера! Как прикажете понимать?

— Я уже давно не канцлер, и гербовая печать не в моих руках, Иван Александрович, — казалось, Бекетов не заметил иронии. — Вы, наверное, знаете, что уже три года между Чегодановым и мною нет никаких отношений. У нас случился разрыв, я уехал из Москвы и веду частную жизнь.

— И всё-таки сам этот ваш разрыв с Чегодановым и решение обратиться к его конкуренту — свидетельство стремительного ослабления Чегоданова. Если самые преданные Чегоданову люди покидают его корабль, значит, его корабль дал течь. Появился другой корабль, надёжный и прочный, где можно чувствовать себя в безопасности.

— Я не обижаюсь, Иван Александрович, на ваше сравнение моей персоны с крысой, бегущей с тонущего корабля. Я уже сказал, что покинул Кремль задолго до того, как ваш корабль был спущен на воду. Вы неверно трактуете мотивы моего визита. Я не перебежчик от слабого и проигравшего к сильному и побеждающему. Чегоданов по-прежнему очень силён, он гораздо сильнее вас. А вы гораздо его слабее. Я пришёл, чтобы усилить вас. Сделать вас сильнее, чем Чегоданов, и тем самым устранить Чегоданова и спасти государство.

Всё это Бекетов произнёс спокойно, с ясными глазами, и Елена почувствовала, что первую схватку, предложенную Градобоевым, выиграл Бекетов. Но проигрыш не раздосадовал Градобоева. Напротив, сблизил с гостем. Градобоев пересел из кресла за маленький столик, ближе к Бекетову, дружелюбно ему улыбаясь.

— Я трезвый человек, а не безумный романтик. Я отдаю себе отчёт в моей слабости и в превосходстве надо мной Чегоданова. Против меня — вся государственная машина с танками, телевидением и разведкой. А у меня — всего несколько микрофонов и уязвлённое несправедливостью общество.

— За вами гораздо большее, Иван Александрович. Вы обладаете волей к власти. Через эту волю реализуется историческая воля народа, который все эти годы искал своего лидера, ошибался, и теперь обрёл — в вашем лице. Вы лидер новой исторической эры. Вы космодром, на который может приземлиться космолёт русского будущего. Но он может и не приземлиться, если космодром не сумеет его принять. Он пролетит мимо, в очередной раз оставив над Россией призрачный след несостоявшегося величия. Я пришёл к вам, чтобы, в меру моих сил, помочь построить космодром, куда приземлится звездолёт русского будущего.

Елену посетило сладостное воспоминание. Его слова были завораживающей музыкой, в которую он облакал таинственные смыслы. Эта музыка очаровала её когда-то, сопутствовала их встречам, их путешествиям. Была истоком её любви. Звучала несколько восхитительных лет и — умолкла. Елена испугалась, вспомнив теперь эту волшебную музыку. Она видела, что Градобоева коснулось тайное волшебство, и он, оболыщённый, был готов внимать и верить.

— Вы, Андрей Алексеевич, знаток кремлёвских коридоров. Кто они, эти придворные, окружающие Чегоданова? Насколько они ему преданы? Например, режиссёр Купатов. Почему Чегоданов сделал его главой избирательного штаба?

— Купатов — утомлённый нарцисс. Он имеет влияние в поредевших рядах русской интеллигенции. Он не способен организовать избирательный процесс, зато способен эффективно курить вишнёвую трубку и глубокомысленно молчать, как если бы играл в театре немого мудреца.

— А глава Центризбиркома Погребец?

— Он выдал дочь за водочного олигарха, и сам имеет фармацевтический бизнес. Он готов обеспечить любые подтасовки на выборах, вплоть до пятидесяти процентов. По-видимому, после предстоящих выборов, которые пройдут с громадными нарушениями, его отправят послом в маленькую скандинавскую страну — от греха подальше.

— Что скажете о министре внутренних дел?

— Коррупционирован, имеет бизнес, связанный с золотом. Его младшая дочь замужем за сыном министра финансов. Считался номенклатурой Чегоданова, но осторожно дрейфует в сторону Стоцкого.

— А кто такой главный телохранитель Чегоданова — Божок?

— Умный, хитрый, жестокий. Беззаветно предан Чегоданову. Готов выполнить любые его — самые деликатные, самые грязные — поручения. Собрал компромат на всех приближённых Чегоданова и управляет ими с помощью этого компромата. Имеет долю в нефтяных, угольных, металлургических корпорациях. Покрывает нелегальные казино.

— А каковы истинные отношения Чегоданова с президентом Стоцким?

— Стоцкий ненавидит Чегоданова за множество унижений, которые перенёс. Он мечтал вторично пойти на президентские выборы, но Чегоданов в грубой, унижительной форме прервал эти поползновения. Вокруг Стоцкого формируется либеральная элита, недовольная Чегодановым. Политики, олигархи, группировки в спецслужбах, журналисты, деятели культуры. Они подбивают Стоцкого на столкновение с Чегодановым. Но Стоцкий нерешителен, боится Чегоданова, хотя готов в подходящую минуту его предать. Во время своей поездки в США имел доверительную беседу с американским президентом. Получил поддержку в случае открытого конфликта с Чегодановым.

— Как вы смогли выжить в этом клубке змей?

— Я был ими многократно ужален.

Елена видела, что Градобоев исследует Бекетова. Чуткий и подозрительный, он проверяет не столько его осведомлённость, сколько искренность. Вслушивается в интонации, дрожанье голоса — не зазвучит ли дребезжащий, фальшивый звук? Но Бекетов был лаконичен, спокоен, его характеристики напоминали кусочки смальты, из которых складывался мозаичный портрет власти.

Елена смотрела на двух мужчин, один из которых являл собой её чудесное, лучистое прошлое, а другой — яркое и упоительное настоящее. Ей не приходилось выбирать между ними. Градобоев был любим, она служила ему, её жизнь принадлежала той грозной и стремительной стихии, которая мчала их обоих. Бекетов был воспоминанием о счастье, которое сменилось болью и отторжением. Она не сравнивала их — боялась сравнивать.

— Но почему вы считаете, что России нужен такой лидер, как я? — усмехнулся Градобоев, будто подтрунивал над Бекетовым, слова которого могли показаться лестью. Но глаза его светились честолюбивым любопытством.

— Я читаю в интернете ваш блог. Изучаю тексты ваших интервью и речи на митингах. В них в неявной форме присутствует идеология будущего Государства Российского. Быть может, вам следует поработать над формой, и вы предложите нашему изнурённому, лишённому веры народу государственную философию будущего. Философию Русской Победы. То, на что оказался не способен Чегоданов.

— В чём, смею спросить, суть философии Русской Победы?

— Вы скорбите о разрушении Советского государства, о разгроме советской цивилизации. Говорите о неизбежном, после устранения Чегоданова, возрождении великой России. Вы уповаете на пасхальный смысл русской истории, которая каждый раз воскрешает из пепла сгоревшее государство. Лучезарная Киевско-Новгородская Русь с золотой орантой в Софийском соборе.

Московское царство на семи холмах с храмом Василия Блаженного — образом русского рая. Грандиозная Романовская империя с золотым Исаакием, подобным пылающему солнцу, и солнечным Пушкиным, озарившим русскую жизнь на тысячу лет вперёд. Яростная, как буря, империя Сталина с рубиновой звездой над Кремлём и красным победным знаменем над Рейхстагом. Вы собираете воедино разрозненное русское время и возводите новое русское царство, таинственное и восхитительное, что витает в туманном небе над московской толпой, которую вы зачаровываете своими пророческими видениями.

Елена чувствовала слабость, словно всё начинало плыть и туманиться. Она вслушивалась в музыку слов и понимала, что прошлое не миновало, а лишь дремало, как дремлет стебель под зимним снегом. И стоит пригреть солнцу, он оживает и выпускает свежий зелёный лист. Ей было страшно. Её новая жизнь, которую она тщательно строила, в которой спаслась, обрела прочность, любовь, возвышенную цель, — эта жизнь начинала клониться, теряла стройность. Была готова рухнуть, вновь обрекая её на горе. Волшебная музыка слов, которая однажды пленила её, теперь была музыкой её несчастий. И зная это, она слепо и пьяно шла на эти волшебные звуки, зовущие её в погибель.

— Вы говорите о беззакониях Чегоданова, о бесстыдном воровстве, о рыдающем от горя народе. О несправедливости, которая воцарилась в России. В земле, где во все века мечтали о райском царстве, о божественных заповедях, о великом человеческом братстве. Каждая православная проповедь, каждый русский стих, каждое устремление русских святых и героев было одухотворено мечтой о божественной правде. Правде, которая воцарится в державе между трёх океанов. Православные монастыри среди дивных русских рек и дубрав станут вратами, сквозь которые в Россию устремятся силы небесные, превратят страну в неколебимую Империю Духа.

Елена видела, как глаза Бекетова вдруг расширились, посветлели, словно в них загорелся таинственный свет. Глаза устремились вдаль, будто не было стен кабинета, каменных городских теснин, а открылся чудесный простор с далёкими лесами и синей негасимой зарей. Она знала лучистую силу этого запредельного взгляда, обожала и пугалась его восхищённых зрачков. Градобоев, с порозовевшим лицом, зачарованно слушал. Он был околдован льющимися словами, которые вспыхивали, как солнце на гребнях волн. Ему объясняли его предназначение, сулили великую роль, ставили рядом с великими созидателями и творцами. Указывали путь к заветной цели среди бессмысленно кипящих событий. И этой целью был Кремль — мистический ковчег русской истории, на котором плыли великие цари и святые.

Елена видела, как Бекетов обретает над Градобоевым магическую власть, усыпляет его волю и бдительность. И это пугало её. Это она сквозь все заслоны привела сюда Бекетова и теперь подвергает опасности любимого человека.

— Вы говорите о разбойниках, засевших в Кремле, об отравителях колодцев, которые вливают яды в народную душу. Всё так. Разорили оборонные заводы, разгромили победоносную армию, теперь они выбивают из рук народа духовное оружие. Внушают русскому народу, что он раб, пораженец, раковая опухоль человечества. Но вы возвращаете русским веру в их божественную миссию, в предначертанную русским работам по сотворению на земле Небесного Царствия. Именно эта неповторимая миссия и богоизбранность навлекает на Россию всю мировую тьму, адские силы нашествий, которые стремятся упразднить русский народ с лица земли, погасить божественную, зажжённую среди человечества лампаду.

— Вы убеждаете народ не отчаиваться. Не верить лжепророкам, сулящим России необратимую гибель. Вы призываете русских верить в Чудо, в необъяснимую, недоступную чужим мудрецам и звездочётам истину. Каждый раз воскресает наша любимая Родина, подобно тому, как совершается пасхальное Христово Воскресение. Русское Чудо — это и есть учение о Русской Победе. И вы — проповедник этого дивного учения.

Бекетов умолк. Минуту или две было тихо.

Градобоев взволновано встал и начал расхаживать по комнате, двигая плечами, словно хотел освободиться от невидимых сетей, сбросить накинутые на него тенёта.

— Вы правы, Андрей Алексеевич: мир, в котором мы существуем, запутан и сложен. Я часто действую наобум, ошибаюсь, меня окружают обманщики и невежды. Я не владею наукой политических комбинаций и нуждаюсь в помощниках. Вас привела Елена. Она знает вас лучше, чем я. Она уверяет, что мы должны вместе работать. В чём же ваш план?

Елена почувствовала, как что-то сомкнулось. Так тихо лязгает затвор, поместив в глубину ствола боевой патрон. И теперь надо ждать, когда раздается неизбежный выстрел.

— Сейчас ваша страсть и прозорливость, ваша харизма и популярность работают не в полную силу, — Бекетов опустил свои зачаровывающие глаза. Поднял их, и они утратили свой таинственный свет, стали внимательными и спокойными. — Вы должны изменить ситуацию. Должны победить без выборов. Тогда все фальсификации, все вбросы и подтасовки утратят смысл.

— Но это невозможно, — с досадой произнёс Градобоев. — Как это сделать?

— Если вы соберёте на площади полмиллиона митингующих, то власть падёт без всяких выборов. Чегоданов убежит из Кремля. Он не выдержит ненавидящей воли пятисоттысячной толпы, которая готова идти на Кремль.

— Но он прикажет войскам стрелять. В Кремле есть танки, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты. Ведь Ельцин стрелял по толпе.

— Американцы не позволят Чегоданову стрелять по толпе. Они позволили Ельцину использовать танки, потому что толпа была красно-коричневая. Сегодня толпа, которая вас обожает, иного цвета. Приведите на площадь полмиллиона москвичей, и Чегоданов убежит из Кремля, а вы станете президентом.

— Но как это сделать? — раздражённо воскликнул Градобоев, — Мои социологи утверждают, что мне не собрать более семидесяти тысяч.

— Вы должны привлечь на площадь все протестные силы. Пусть множество негодующих лидеров приведут к вам на площадь своих людей, и вам не хватит пространства Болотной.

— Но разве вы не знаете этих оппозиционных царьков? Чегоданов убедил их не участвовать в нынешних выборах, и мы остались с ним один на один. Но каждый мнит себя лидером нации, будущим президентом, и они не придут под мои знамена.

— Я знаю их всех. Знаю их слабости и пороки. Я готов убедить этих мелких честолюбцев встать под ваши знамена. Я могу воздействовать на лидера коммунистов Мумакина, и все недовольные пенсионеры придут к вам с красными флагами. Могу убедить радикального безумца Лангустова, и все революционеры, все феминистки, все лесбиянки и геи станут требовать отставки Чегоданова. Я знаю, какие струны тронуть в душе еврейского активиста Шахеса, кумира либеральной культуры, и всё мировое еврейство — нобелевские лауреаты, американские конгрессмены, израильские раввины — будет на вашей стороне.

— Вы считаете, это возможно?

— До выборов осталось четыре месяца. От митинга к митингу, от одной протестной акции к другой мы будем наращивать силы. Мы запустим креативные технологии, которые станут будоражить толпу. Мы создадим стратегию, которая к весне сделает вас лидером миллионов. В этом мой план. Я готов работать, если вы его принимаете.

Градобоев нервно перемещался по кабинету. Он пытливо и недоверчиво взглядывал на Бекетова, словно стремился обнаружить его вероломство. Обходил его со спины, будто хотел обрушить на него неожиданный удар. Вдруг подошёл к Елене, обнял её за плечи, положил ей руку на грудь и зорко посмотрел на Бекетова. Елена сжалась, не в силах отстраниться, чувствовала сильную руку Градобоева, больно сминавшую грудь. Бекетов спокойно смотрел на безделушки, украшавшие рабочий стол.

Градобоев отошёл от Елены:

— Я согласен, Андрей Алексеевич. Действуйте. Елена будет нашей посредницей. А ты останься, — обратился он властно к Елене.

Бекетов вышел из особняка. Дышал холодным стальным воздухом, в котором кружились снежинки. Медный истукан в треуголке высился над черной водой. Бекетов испытывал острое злое веселье. Внедрение в стан врага состоялось. Враг был инфицирован. Теперь предстояло следить за развитием эпидемии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лидер коммунистов Мумакин не принимал участия в выборах. Он не любил Чегоданова, не желал быть помехой Градобоеву и отнимать у него голоса. Оставался в стороне от схватки, уже двадцать лет терпеливо дожидаясь, когда власть каким-нибудь чудесным образом сама упадёт к нему в руки.

Мумакин принимал Бекетова у себя на подмосковной даче. Строгий охранник провёл его в дом, напоминавший мавританский замок, католический собор и древнерусский терем одновременно. Усадил в гостиной у застеклённой стены, сквозь которую был виден заиндевевый газон, на котором были расставлены белые античные музьи и бронзовые китайские драконы. Среди газона изумрудным овалом сиял бассейн с поблескивающей корочкой льда.

Бекетов осматривал гостиную, в которой царил всё тот же синтетический стиль, говоривший о вкусах хозяина. О тех сложных влияниях, которым он был подвержен. На стене висел огромный портрет самого Мумакина в золотой раме. Фоном служил Кремль, что, по замыслу модного художника, указывало на неизбежный триумф. На столиках были расставлены безделушки — подарки друзей и памятные подношения различных делегаций. Здесь была нефтяная вышка, модели танков и самолётов, бюстики Ленина и Сталина, коврик с бисерным Мавзолеем, статуя Свободы, Эйфелева башня и дорогая, выточенная из агата многорукая фигура Шивы.

Через несколько минут Мумакин появился перед Бекетовым. Розовый, с влажными, причёсанными волосами, с синими глазами навывкат и толстыми улыбающимися губами.

— Физкульт-привет! — бодро салатовал он гостю.

Охранник, он же служитель, внёс серебряный поднос с фарфоровыми чашками чая. Тут же стояла вазочка с мёдом, лежали серебряные ложечки.

— Отведайте, Андрей Алексеевич, чаёк на травках алтайских. Мои ребята — коммунисты — по горам собирали. Полезно, скажу я вам, — Мумакин шумно отхлебнул чай, прикрыв от наслаждения глаза. — Только что вернулся с Алтая. Как хорошо принимали! Залы везде битком. Ко мне подходили местные бизнесмены, силовики. “Достал нас, говорят, Чегоданов. Берите власть, Пётр Сидорович”. — Мумакин прилёбывал чай, прикрыв веки, а сам сквозь белесые ресницы посматривал на Бекетова. — А я им говорю: “Помогайте. Давайте возьмём власть, а то всем будет крышка. И богатым, и бедным, и бизнесменам, и бюджетникам”. Все согласны со мной.

— Вы правы, Пётр Сидорович, стране скоро крышка, — Бекетов незаметно включил диктофон. — Но чтобы взять власть, даже через процедуру выборов, нужна особая технология.

— Согласен, — волевым жестом человека, знающего, как нужно брать власть, Мумакин отставил чашечку. — Мы, коммунисты, знаем, как взять власть. У нас собралась блестящая команда, из которой хоть сейчас набирай министров. У нас есть программа выведения страны из кризиса. У нас есть широкая поддержка народа.

— Но вы всё ещё не в Кремле! Быть может, следует изменить технологии? Поискать иной путь к успеху? — Бекетов чувствовал, что под мягкой резиновой внешностью Мумакина таится стальной сердечник, сквозь добродушную манеру держаться просвечивает жёсткая сущность. Только благодаря этой сущности Мумакину удавалось контролировать партию, ловко устранять конкурентов. Осторожный вопрос Бекетова насторожил Мумакина, не допуская посторонних влияний на партийную жизнь.

— Вы, Андрей Александрович, использовали свои технологии, когда работали с Чегодановым. Тогда от этих технологий трещала страна. — Мумакин продемонстрировал Бекетову свою неприязнь и снова стал мягким и добродушным. — Впрочем, все знают, что вы ушли от Чегоданова. Он и вас допек. Ну, разве можно так издеваться над бедным народом? Строит дворцы, как арабский эмир. Скупает часы по миллиону долларов каждые, будто хочет купить само время. Позор на всю Россию! Что ж, если вы стали патриотом, приходите к нам. Мы вам найдём хорошее место. Нам нужны талантливые осведомлённые люди. Ленин брал на службу царских офицеров и чиновников. Кстати, как вы оцениваете политическую ситуацию?

— Ситуация напоминает варенье, в котором, как две мухи, заилили Градобоев и Чегоданов.

— Подождите, я возьму блокнот.

Мумакин достал из ящика блокнот и авторучку, которую партия использовала в качестве сувенира. На ней была нанесена размашистая роспись “Мумакин”.

— Рейтинг Чегоданова колеблется у отметки тридцать шесть процентов. Протестная площадь дарит Градобоеву шестнадцать процентов. Разрыв сокращается. Но Градобоеву не хватает мощности, чтобы увеличить численность толпы и надавить на Чегоданова. От вас зависит конечный успех Градобоева.

Бекетов говорил, а Мумакин быстро писал. Была известна его манера записывать в блокнот мысли, почерпнутые в беседах.

— Необходимо резко, уже к следующему митингу, увеличить протестную толпу. Создать поле негодования и ненависти к Чегоданову, и его популярность покатится вниз. Он утратит волю к сопротивлению, и его избирательная кампания станет разваливаться. В схватку вступает темперамент, воля, психология. Необходимо сломить волю Чегоданова.

Мумакин писал, наклоня лобастую голову. Казалось, он пишет диктант. Бекетов старался говорить медленней, чтобы тот успевал записывать.

— Чтобы увеличить толпу, необходимо вам, Пётр Сидорович, привести на площадь своих сторонников. Дайте приказ райкомам, чтобы они привели коммунистов, и площадь запылает красными флагами. То же пусть сделают радикалы Лангустова с их чёрными масками и натренированными кулаками. То же — еврейские активисты Шахеса, способные собрать на Болотной всё мировое еврейство. То же — мадам Ягайло, за которой явится на площадь весь безумный шоу-бизнес, все панки, рок-группы, гей-оркестры.

Мумакин перестал писать. Бекетов покушался на его респектабельность. Приверженность традиционным ценностям гарантировала ему популярность среди “красных пенсионеров”, но отталкивала молодёжь и либеральных вольнодумцев.

— Вы хотите, чтобы я встал под одни знамена с Лангустовым и Шахесом? Или с этой, прости Господи, Ягайло?

Диктофон Бекетова неслышно работал, заглатывая в свой крохотный зев все поношения.

— Вы неточно оцениваете отношение к вам Чегоданова, Пётр Сидорович, — сказал Бекетов. — Он готовится устранить вас из политики, как только станет президентом. Он хочет заменить вас на более молодого и реформировать компартию, превратив её в социал-демократическую.

— И что вы мне предлагаете делать? — насмешливо, но с затаённым интересом произнёс Мумакин.

— Если позволите, я вам подскажу. Вам следует встретиться с Градобоевым и договориться о стратегическом союзе. Он пообещает вам, в случае своей победы, назначить вас премьер-министром. Должность премьера — это огромный для вас успех. Успех всей компартии. Народ воспримет ваш союз с энтузиазмом. Опытный матерый политик, связанный с великим советским прошлым, и молодой энергичный патриот — олицетворение будущего. Вы приведёте на следующий митинг своих коммунистов, и площадь будет пламенеть красными флагами, один цвет которых вызовет у Чегоданова ужас. Его популярность резко упадёт, его воля к борьбе будет

подавлена, и он проиграет на выборах. Партия осуществит свою экономическую программу. Страна будет спасена, и вокруг партии объединятся все патриоты, бедные и богатые, православные и мусульмане. Я же с моими скромными возможностями и ограниченными знаниями берусь вам помогать. Стану вашим преданным помощником. И, таким образом, вы впишете себя в русскую историю.

— Мне надо подумать. А вы пока устройте мне встречу с Градобоевым, — после долгого молчания сказал Мумакин.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Штаб-квартира революционного писателя Лангустова помещалась в сумрачном районе у Трех вокзалов. Суровые молодцы в кожаных куртках осмотрели Бекетова и пропустили в подвальное помещение. Оно напоминало бомбоубежище, разрисованное хлесткими граффити: революционные бойцы водружали на баррикадах знамена. Другие бойцы схватились с отрядом ОМОНа: шлемы, щиты и дубинки мешались с кулаками, сжимавшими камни, палки, обрезки арматуры. Тут же сквозь тюремные решетки смотрели аскетические, волевые лица несломленных политических узников.

На бетонном полу среди этих фресок телегруппа расставляла штативы, осветительные приборы, серебристые зонтики и экраны. Стояли камеры на треногах. Сновали операторы, режиссеры. Слышалась французская речь.

Охранник провёл Бекетова через импровизированную съёмочную площадку и ввёл в комнату, где взору Бекетова предстал Лангустов.

Он сидел в старом плетёном кресле, облачённый в махровый халат, из-под которого выглядывали худые голые ноги. Его небольшое коричневое лицо было в сетках морщин, пролежавших сразу в нескольких направлениях, каждое из которых говорило о прихотливых поворотах его судьбы, о страстях и страданиях, запечатлённых в его блистательных книгах. Лицо Лангустова с коллекцией морщин и было собранием его сочинений, библиотекой его странствий, гонений, военных авантур и революционных затей. Бобрик на его голове был седой, жёсткий и ожесточённый, как те уличные схватки, в которых участвовал его авангардная партия. Полицейские разгоняли дубинками демонстрантов, а лидера тащили волоком в железный автозак, в котором причёска героя обретала свой стальной нахохленный вид. На руках Лангустова переливались серебряные перстни с темно-зелёными изумрудами и агатами. В этих перстнях Бекетову почудилось что-то причудливое и порочное, говорившее о тайных пристрастиях революционера, о потаённой жизни, куда укрывался Лангустов от обожающих глаз единомышленников, от бдительных соглядатаев власти, от назойливых журналистских преследований. Его подбородок украшала острая борода, тщательно скопированная с портрета Троцкого. Это эпатазирующее сходство должно было указывать на близость Лангустова к европейским левым интеллигентам, проповедующим “перманентную революцию”. Но самым удивительным в Лангустове были его глаза. Зелёные, с металлическим оттенком, они напоминали бронзовых жуков, поселившихся в глазницах. Не связанные с его остальным обликом, они обладали магической силой, сочетали Лангустова с волшебными мирами, откуда он черпал творческое вдохновение. Всё это моментальным взором объял Бекетов, поместив экстравагантный образ Лангустова в замысел своей с ним беседы. Так помещают в сафьяновый футляр драгоценную скрипку.

— Признаться, удивлён, — произнёс Лангустов, усаживая Бекетова на шаткий неудобный стул, покачивая на голой ноге стоптанным шлепанцем. — Когда мне сказали, что вы пришли, я подумал, что в моей комнате должен был появиться дракон с чешуйчатым хвостом, перепончатыми крыльями и ядовитым пламенем. На его зубах — остатки растерзанных политических организаций, а в когтях — головы замученных политиков и идеологов. А вы принесли облик заурядного человека.

— Не стоит обманываться, — ответил Бекетов. — Приглядитесь, и вы заметите чешую.

— В моих правилах — не пускать в свой дом врага. Но в вашем случае я сделал исключение. Мне захотелось посмотреть, как выглядит человек, изуродовавший весь идейный и политический ландшафт России. Вы оставили после себя мёртвые овраги и ядовитые болота, где невозможна никакая жизнь. Мне хотелось увидеть того, кто загонял меня и мою партию в капканы и ловушки, как загоняют волков. Именно вы заставили меня и моих людей взяться за оружие. Благодаря вам несколько моих соратников всё ещё томятся в тюрьмах. Благодаря вам я изведал сладость ареста, мёд тюремных пыток и вкус баланды, которой меня потчевали на зоне.

Всё это Лангустов произнёс с дрожанием маленьких красивых губ. Зелёные глаза горели.

— Видите ли, — ответил Бекетов, — я делал всё, чтобы хрупкое государство не превратилось в Гуляй-поле, по которому из конца в конец носятся стрекочущие тачанки и конные армии Будённого.

— Вы тот, кто десять лет сдерживал русскую революцию. Стравливал одних революционеров с другими. Не давал состояться союзам. Разрушал репутации с помощью грязных интернет-провокаций. Вы подкупали одних и запугивали других. Вы продлевали существование этого подлого режима, противного всем законам природы. Это вы не позволяли регистрировать нашу партию. Вы объявили её фашистской. Вы подложили мне в постель проститутку и вывесили в интернете интимные сцены. Это вы распространили слухи о моих гомосексуальных пристрастиях. Вы засылали в наши ряды шпионов, и один из них указал на склад автоматов, после чего арестовали меня и моих товарищей. Вы самый отвратительный и вероломный пособник Чегоданова и войдёте в историю наряду с Малютой Скуратовым, Победоносцевым и Гришкой Распутиным.

Бекетов чувствовал исходящий от Лангустова ток ненависти. Казалось, вот-вот последует взрыв.

— Вы правы, я мешал вам, потому что считал вас наиболее опасным среди всех возмутителей спокойствия. Вы один, со своим радикальным бесстрашием, своими ошеломляющими художественными поступками, своими изумительными книгами могли стать катализатором революции. Остальные были рыхлыми говорунами, тусклыми резонёрами, пошлыми критиканами. Поэтому я мешал вам, как мог.

— Вы хотите, чтобы я благодарил вас за это?

— Но отряхая и уничтожая, я вас берёг. Я сорвал операцию ФСБ, в процессе которой на вас должен был наехать грузовик. Когда у вас изымали автоматы и надевали на вас наручники, вас должны были застрелить при попытке к бегству. Я не позволил этого сделать. Прокуратура требовала для вас шестнадцать лет тюрьмы, но я повлиял на судью, и вам дали только четыре, и по моему настоянию через два года выпустили досрочно. Теперь я могу вам сказать об этом.

— Боже мой, я должен этому верить? Чем же я заслужил ваше расположение? — зелёные жуки в глазницах шевелились, словно хотели улететь.

— Своими книгами. Я считаю вас великим писателем. Россия должна гордиться тем, что имеет такого писателя. И парадокс заключается в том, что ваши изумительные книги — плод ваших безумных походов, ваших военных и революционных авантур. То, что в моих глазах делало вас опасным для государства и побуждало меня подавлять вас, воплощенное в романы и повести, восхищало меня и заставляло вам помогать.

— Действительно, парадокс, — произнёс Лангустов, вдруг успокоиваясь, и вместе с ним успокоились бронзовые жуки, раздумав улетать. Электрическая судорога перестала терзать его плоть. Жар ненависти отхлынул.

— Я понял, что ваше творчество есть непрерывный репортаж о своей собственной жизни. Жизнь отстаёт от вашей способности её изображать, и для того, чтобы не иссякали сюжеты, вы форсируете вашу жизнь, бросаетесь в авантюры, которые тут же переводятся в блистательные страницы. Поэтому, быть может, вы должны благодарить меня за свои злоключения. Я являюсь незримым соавтором ваших книг.

— Вы хотите, чтобы я поделился с вами гонораром? — захохотал Лангустов, и его седая борода смешно задрожала. Он уже не выглядел враждебным. Красуясь, любовался серебряными перстнями.

— Зачем вы ко мне пришли? Я знаю, что вы не у дел. Порвали с Чегодановым. Мне неясна причина вашего разрыва.

— Я служил Чегоданову, помогал ему, вдохновлял, устранял врагов, но только для того, чтобы уберечь российское государство от падения. Мне казалось, что Чегоданов способен на рывок, на преобразование, на подвиг. Что он начнёт, наконец, долгожданное русское развитие. Но он ничего не делал. Страна сгнивала, народ вымирал, мы проваливались в пропасть. И я понял, что спасение — в революции. Пусть будет взрыв, пусть будет пролита кровь, пусть последуют неисчислимые несчастья. Но это остановит гниение, выведет на авансцену новых людей, спасёт Россию. Выбирая между гниением и революцией, я выбрал революцию. Но революция — это вы. Вот почему я пришёл к вам.

— Но они украли у меня Революцию! — бурно воскликнул Лангустов, и зелёные жуки вспыхнули злобой бронзой. — Этот тупой буйвол Градобоев обокрал меня и увёл мою возлюбленную, мою ненаглядную, мою неистовую красавицу Революцию. Он обманом овладел народной стихией и умертвил её. Он превратил баррикады в эстрадную сцену, уличные бои — в маскарадные шествия, террористические акты — в жалобы на кремлёвское начальство. Он могильщик революции. Он положил на глаза революции два медных пятака со своим изображением. Ненавижу его!

Эти последние слова Лангустов выкрикнул тонким, сорвавшимся голосом. Его борода гневно трепетала. Морщины бежали в разные стороны, и казалось, вот-вот они разорвут кожу лица. Бекетов видел перед собой человека, снедаемого ревностью, изведённого ненавистью, которая лишила его чуткой бдительности. Делала беззащитным. Он был похож на черепаху, лишённую панциря, на змею, скользнувшую из чешуйчатой кожи.

— Наступает ваше время. Революция выбирает вас. Вы должны прийти на Болотную площадь и встать рядом с Градобоевым.

Лангустов захлебнулся клекотом, задрожал маленьким злым кадыком:

— Вы хотите, чтобы я встал рядом с этим претенциозным самозванцем Градобоевым, вскормленным на деньги ЦРУ? Или вы пригласите меня встать рядом с Мумакиным?

Лангустов хохотал, разбрызгивал блеск перстней, кожаный тапок с его ноги соскочил, и Бекетов увидел, что ногти его покрыты нежно-розовым лаком.

Диктофон на груди Бекетова бесшумно заглатывал этот дребезжащий хохот, визгливую брань, язвительные поношения.

— Я разделяю ваше презрение, — Бекетов направлял луч своей воли в маленький дрожащий кадык Лангустова, туда, где у древних рыцарей находилась просвет между шлемом и нагрудным доспехом. — Площадь, которую ещё и ещё раз станет собирать Градобоев, будет переполняться толпой. Толпа от раза к разу станет приближаться к критической массе, за которой последует революционный взрыв. Но чтобы площадь рванула, нужен взрыватель. Все перечисленные вами герои не годятся для роли взрывателя, поскольку состоят из негорючих материалов. В них нет взрывчатки. Их порох либо сырой, либо вовсе отсутствует. Вы — взрыватель!

Голос Бекетова зазвенел певуче и сладостно. Лангустов замер, превратившись в птицу, которая услышала манящий звук.

— Ваша маленькая яростная партия, как религиозный орден, готова воевать, жертвовать, побеждать. Вы воспитали когорту пассионарных бойцов, способных сдетонировать взрыв невиданной силы. Россия заминирована революцией. В каждом мегаполисе, в каждом городе, городке и селенье притаилась революция, готовая полыхнуть и рвануть. Никто, кроме вас, не может крутануть взрыв-машинку. Никто не решится взорвать фугас революции. Но когда он взорвётся, этой вспышкой озарится планета, содрогнется небоскрёбы, авианосцы и храмы. Посыплются все устои этого мерзкого несправедливого мира. Побегут из своих рублёвских замков тучные упыри. Кинутся вон из своих кабинетов продажные министры и депутаты. Станут улепеты-

вать казнокрады, телевизионные лгуны и агенты полиции. Но их повсюду будет настигать возмездие. Их трупы в сточных канавах будут обгладывать собаки. Пепел от их сгоревших дворцов затмит солнце. И народ, прекрасный и яростный, пройдёт по трупам своих мучителей, распевая революционные песни. Слова этих песен напишете вы, Лангустов. Русская революция будет вашей главной великой книгой, которую переведут на все языки мира!

Морщины Лангустова, казалось, сошли с ума — они метались во всех направлениях, сходились в коричневые жгуты, скручивались в канаты и вновь разлетались, протачивая новые русла. Лангустов выбирал себе новую судьбу, новую прекрасную авантюру. Его творческая энергия вновь обретала тему, находила героя. И этим героем был он сам, пророк и поэт революции.

Внезапно он замер. Зелёные жуки пламенели в его глазах, как раскалённые слитки. Морщины образовали новый узор, в котором угадывались его будущие лишения, нестерпимые муки, невыносимые траты. И будущий великий триумф.

— Я вас услышал, — произнёс Лангустов. — Я пойду на площадь с Градобоевым. Устройте мне с ним ветречу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Бекетов осознавал всю опасность работы, которую выполнял. Встречи, что он проводил, могли стоить ему жизни. И не только потому, что его могли уличить во лжи, ликвидировать как провокатора и лазутчика. Люди, с которыми он встречался, партии и движения, которыми манипулировал, были подобны электрическим жилам, пропускавшим ток гигантского напряжения. Бекетов обнажал эти жилы, соединял, изменял направление тока, сливал воедино гигантские энергии. Неосторожное движение или неверное соединение контактов, ошибка в клемме или неправильный выбор полюсов — и полыхнёт ослепительная молния, расплавит провода, убьёт незадачливого электрика, разрушит все здание электростанции, породит бесчисленную цепь катастроф и аварий.

Теперь он отправлялся ко Льву Семёновичу Шахесу, еврейскому активисту, директору одного из фондов, живущих на зарубежные средства. Фонд занимался правозащитной деятельностью, выявлял национал-экстремистов, помогал деятелям еврейской культуры, отправлял в Америку и Израиль наиболее талантливых студентов. Шахес, распорядясь фондом, был в то же время негласным управляющим множества еврейских сообществ, кружков, литературных и театральных студий, культурных инициатив и телевизионных программ. От него тянулись нити к еврейским банкирам, либеральным министрам, иностранным посольствам. Он перебирал эти нити, как опытный ткач, слетая разноцветный ковёр, куда вылетал политиков, финансистов, художников. Не он изобретал узоры ковра. Он лишь чутко реагировал на бесчисленные сигналы, поступающие к нему, из которых складывалась жизнь разветвленной еврейской среды, активной, нервной и бдительной.

Резиденция Шахеса помещалась в просторном офисе с окнами на Новодевичий монастырь, который казался нежной розово-белой вышивкой с продёрнутой золотой нитью. Бекетов каждый раз, глядя на изысканные кружева наличников, на золотые всплески летящих в небеса куполов, испытывал нежность, умиление, благоговел перед целомудренной женственностью, витавшей над монастырём.

Шахес был маленький, круглый, курносый, с белыми толстыми щёчками, покрытыми светлой щетинкой. Почти не имел шеи. В коротких беспокойных руках вертелась какая-то мятая резинка, похожая на мокрого червяка. Он обладал внешностью, за которую его прозвали “Наф-Наф” — по имени одного из трёх поросят. Когда он нервничал, то начинал так грассировать, что его речь становилась нечленораздельной и напоминала щёлканье скворца.

Он встретил Бекетова радушно, усадив напротив окна с розовым виденьем монастыря. Распорядился принести чай в серебряном подстаканнике. Смотрел вопрошающими глазками, продолжая крутить в руках мятого червяка.

— Рад вас видеть, Андрей Александрович, в моей скромной, но уютной обители. Вы не можете не знать, как я вас уважаю. Вы несколько раз помогли мне в очень шекотливых делах, и поверьте, я не забываю добро, умею быть благодарным.

— Я всегда видел в вас, Лев Семёнович, просвещённого, думающего человека, чья деятельность способствует укреплению гражданского общества. Все ваши инициативы я старался поддерживать и защищал вас от нападок явных и скрытых антисемитов, которых, увы, немало в президентской администрации.

Они обменялись знаками дружелюбия, которые предполагали доверительную и обоюдно полезную беседу. Молчали. Шахес смотрел на Бекетова настороженными глазками.

— Я сожалею, Андрей Александрович, что вы покинули администрацию президента. Не только потому, что в вашем лице я встречал понимание в очень тонких вопросах. Но и потому, что, мне казалось, президент пользовался вашими советами, чтобы удерживать наше беспокойное общество в равновесии, гасить разрушительные инстинкты ненависти и ксенофобии, уберегать страну от погромов, — Шахес благодарно моргнул круглыми, в белых ресницах, глазами, приглашая Бекетова начать разговор, ради которого тот появился в его кабинете.

— Вы заблуждаетесь, Лев Семёнович, относительно Чегоданова. Когда он был президентом, он не сдерживал проявления ксенофобии и антисемитизма, а, напротив, тайно их поощрял. Он, при всей его внешней толерантности, ярый антисемит. Это во многом послужило причиной нашего разрыва. Мне стало отвратительно с ним работать.

— В самом деле? — белые бровки Шахеса высоко взлетели над изумлёнными глазами. Резинка в его пальчиках нервно закрутилась, как дождевой червяк, в который всаживают рыболовный крючок. Бекетову казалось, что это странный нервный отросток — черенок мозга, который реагирует на раздражающие сигналы, участвует загадочным образом в мыслительном процессе Шахеса. — В чём же проявляется юдофобство Фёдора Фёдоровича Чегоданова?

— Вы можете не поверить, но Чегоданов способствует финансированию ультранационалистических, юдофобских организаций. Он воздействовал на суд присяжных, оправдавший безумного полковника, который готов стрелять в еврейских банкиров. Он тайный поклонник Сталина и при мне сожалел, что тот не успел выселить евреев в Биробиджан, и тогда, как он сказал, “воздух в Москве был бы чище”. В узком кругу он называет видных представителей еврейской культуры “жидами”. Он принимал у себя делегацию палестинских террористов “Хамас”, обещая поставить им противотанковые ракеты “Корнет”. Я слышал, как он язвительно отзывался о евреях, которые “сделали гешефт на Холокосте”, и предсказывал, что Германия в скором времени сбросит с себя “еврейское иго”. А однажды, когда я без предупреждения зашёл в его кабинет, он с упоением смотрел фильм Лени Рифеншталь “Триумф воли”, и когда колонны штурмовиков с ночными факелами образовали гигантскую свастику, на лице его блуждала безумная улыбка.

Бекетов чувствовал, как посланный сигнал заставляет трепетать Шахеса.

— Чегоданов — маньяк, который повсюду видит еврейский заговор. Он верит в то, что Россия стала объектом грандиозной геополитической спецоперации под названием “Вторая Хазария”. Суть её в том, что еврейский мир чувствует свою обречённость. Государство Израиль задыхается в арабских тисках и планирует перенести свой центр в Россию, ибо здесь когда-то существовало Хазарское еврейское царство. Чегоданов видит в каждом еврее агента, который способствует реализации этого плана. Они подавляют русскую культуру, вытесняют русских из политики, науки, бизнеса, насаждают дух Хазарского каганата.

— Но это же дичь! Черносотенство! Маниакальная ксенофобия! — резинка в мелькавших пальчиках Шахеса превратилась в маленький вихрь, а сам он покраснел до ушей и начал грассировать. Он перевёл дух и продолжал говорить, стараясь бережно обходиться с согласными. — Но это действи-

тельно паранойя, которая не оставляет русских сто лет. Какой еврейский заговор? Какая Хазария? Евреи влились в русскую жизнь и обогатили её. Еврейские художники, музыканты и поэты, еврейские врачи и учёные. Еврейские физики, которые создали русскую атомную бомбу и сберегли Россию, сберегли, если угодно, русскую государственность, которая бывает к евреям крайне неблагодарна. Мы должны быть вместе. В России столько ресурсов, которыми русские не умеют воспользоваться: нефть, лес, алмазы, пресная вода, даже снег, изумительный русский снег! Русские ресурсы и еврейский ум обеспечат нам процветание!

Шахес моргал круглыми глазками, как обиженный ребёнок, который собирался расплакаться. Бекетов тайно торжествовал. Шахес утратил осторожность, перестал скрываться, как улитка в своём домике. Обнаружил свою беззащитную, пульсирующую мякоть.

— Вы абсолютно правы, Лев Семёнович, — Бекетов выражал благодарность за это откровенное признание, которое совпадало с его, Бекетова, мнением. — Я объяснял Чегоданову: русские и евреи — два мессианских народа, предлагающие человечеству свои символы веры. Идею совершенства. Но человечество отвергает эти символы веры и казнит евреев и русских за их мессианство. Русские и евреи несут неисчислимыя траты, терпят гонения, нашествия, но не в силах отказаться от своего мессианства, вменённого им Богом. Так не настало ли время объединить наши усилия по исправлению рода людского? Наше мессианство и есть наш главный ресурс, а ум, о котором вы говорите, он не еврейский, не русский, а Богов.

Шахес перестал вращать резиновый черенок. Молча смотрел на Бекетова. Обдумывал услышанное, сопоставляя с тем, что он думал, слышал и знал по этому поводу. А Бекетов смотрел на бело-розовое диво монастыря и вдруг вспомнил, как в детстве мама водила его в монастырь. Рассказывала о царевне Софье, стрелецком бунте, и кругом была изумрудная весенняя зелень, золото куполов, старинные надгробья с именами генералов, советников, знаменитых писателей. И мама казалась такой красивой среди весенних цветов и белых налечников...

Это воспоминание было острым, ошеломляющим и вдруг обесценило всё, ради чего он появился в этом кабинете. Лукавил, притворялся, вёл мучительную, не имеющую окончания игру. Отказался от подлинной, искренней жизни, в которой присутствовали нежность к матери, влечение к умершему отцу, молитвенные мысли об усопшей родне, когда вдруг в ночи он начинал молиться о них. И эта молитва переносила его в чудесный край, где все они были живы, любили его, сберегали из своей таинственной дали, ждали к себе, в чудесную обитель.

— Андрей Александрович, — Шахес прервал его воспоминания, вернул из солнечного изумрудного утра в серый холод московской зимы. — Мне кажется, вас что-то тревожит. Вы хотите мне что-то сказать.

— Вы правы, Лев Семёнович, у меня есть серьёзные опасения относительно того, как развивается предвыборная кампания. Кто наполняет Болотную площадь, чтобы поддержать Градобоева? Там непрерывно увеличивается число националистов и “левых”, которые охвачены националистическими настроениями. Если под напором миллионной толпы власть, не дожидаясь выборов, падёт, и Чегоданов сбежит из Кремля, эту власть подхватят нацисты и ультралевые. И последствия будут ужасны: террор, еврейские погромы, война всех против всех. Этот русский хаос никого не пощадит. Это меня ужасает, Лев Семёнович.

— Такой сценарий очень и очень возможен. Союз “левых” и “наци” — это и есть национал-социализм. “Русский фашизм”, в который никто не верил... — резиновый отросток в руках Шахеса бурно вращался, рассылая сигналы бедствия. И эти сигналы принимали в правозащитных организациях, аптеках, творческих союзах, банках, на телеканалах и радиостанциях. Сообщество дельцов и художников, политиков и банкиров возбуждалось, консолидировалось, оборонялось, перешло в атаку, подавляя очаги и центры опасности. Так подавляет артиллерия скрытые огневые точки, давно нанесённые на военную карту. — Что же вы предлагаете, Андрей Александрович?

— Вы должны привести на площадь своих людей. Должны войти в ближайшее окружение Градобоева, чтобы получить от него преференции. Должны возглавить протестное движение. Ваши люди должны стоять на трибуне рядом с Градобоевым и оттеснить от него нацистов. В ваших рядах есть интеллектуалы, есть политехнологи, есть бывшие министры и даже премьер-министр. Вы способны предложить будущему президенту Градобоеву стратегию и тактику, а если случится хаос, способны перехватить власть и оттеснить фашистов. В этом ваша историческая миссия, Лев Семёнович, ваш вклад в русскую историю. Подумайте, Лев Семёнович. Вы знаковая фигура. Вы лично должны появиться на трибуне и встать рядом с Градобоевым.

Щёки Шахеса под белесой щетинкой порозовели. Белые ресницы часто моргали. Курносый нос издал шмыгающий звук, и Шахес всем своим видом подтверждал свое прозвище “Наф-Наф”. Он засмеялся, сотрясая свой круглый животик.

— Вы хотите, чтобы я встал рядом Градобоевым, который публично усомнился в подлинности дневников Анны Франк? Чтобы я встал рядом с Мумакиным, который заявил, что в окружении Ленина было слишком много евреев? Чтобы я оказался рядом с этим гомосексуалистом Лангустовым, чей флаг слишком напоминает флаг Третьего рейха? Чтобы меня, доктора философских наук, почётного профессора Иерусалимского университета, окружал этот сброд?

Шахес смеялся. И этот смех, это странное фырканье курносого носа, эти уничижительные слова фиксировал крохотный диктофон на груди у Бекетова. Шахес продолжал смеяться, тряся животиком, но постепенно смех его стал стихать, животик успокоился. И он задумчиво стал смотреть на Бекетова, словно отыскивал в нём какой-то признак, какую-то черту, позволяющую угадать вероломство, тайную интригу, куда Бекетов собирался его затянуть.

— А вы хорошо знаете Градобоева? — спросил Шахес.

— Не очень, — ответил Бекетов.

— Вы знаете, что он стажировался в Йельском университете у профессора Вунда, сына штандартенфюрера СС?

— Не знаю.

— А вы знаете, что его мать, Анна Трефилова, была активисткой печально известного общества охраны памятников, откуда вышла фашистская “Память”?

— Я не изучал его родословную.

— И эта его нынешняя любовница, пресс-секретарь Елена Булавина, посещала монастырь в Боголюбове, где общалась с православным сталинистом отцом Петром! Кстати, Елена Булавина была вам очень близка. Это ваш человек в окружении Градобоева?

Круглые глазки Шахеса ласково вопрошали. Бекетову вдруг стало страшно. Он почувствовал, что прозрачен для Шахеса, который видит его насквозь, разгадал его лукавую затею, играет с ним. Он, Бекетов, вовсе не искусный режиссёр, поместивший Шахеса в свой спектакль, а заурядный актёр в театре Шахеса и выполняет его режиссёрский замысел. Он, Бекетов, ошибся, соединил не те провода, перепутал полюса, и сейчас ударит сокрушительная молния, блеснёт чудовищной силы вспышка, от которой взорвётся монастырь за окном, рухнет бело-розовая колокольня, обуглятся золотые купола.

И он сидел, похолодев от ужаса, ожидая удара. Постепенно успокаивался, чувствуя, как стучит сердце.

Лицо Шахеса стало задумчивым, печальным. Словно его мысль летела по огромным пространствам, где шёл по пустыне народ, ведомый пророком, мудрецы листали пергаменты с древними письменами, еврейские революционеры взрывали царей и сановников, горели печи Бухенвальда, банкиры играли судьбами континентов, и звучал пленительный, как больная скрипка, стих Мандельштама. Мысль Шахеса, пролетев по необозримым пространствам, вернулась в Москву, в кабинет, где сидел Бекетов. Сложилось умозаключение, суть которого оставалась пока неизвестной Бекетову.

— Я вас услышал, Андрей Александрович, — произнёс Шахес. — Я пойду на Болотную площадь. Устройте мне свидание с Градобоевым.

За окном вдруг побелело. Пошёл снег, густой, летучий. Занавесил монастырь, налипал на стекла, хотел влететь в кабинет. Метель играла, в ней возникали просветы, и тогда казалось, что колокольня танцует, купола летают, как золотые шары, монастырь отрывается от земли и мчится в снегопаде, как фантастический ковчег. И в этом ковчеге он, Бекетов, совсем ещё мальчик, и мама, и молодой отец, и бабушка, и погибший под Сталинградом дед, и вся старинная, любимая, незабвенная родня. И стрельцы, и царевна Софья, и царь Пётр в Преображенском мундире, и этот ковчег русской истории несётся из неоглядного прошлого в неоглядное будущее.

Шахес встал, подошёл к окну, открыл его. В кабинет ворвался снежный аромат, прохладная белизна, колокольный звон. Шахес протянул маленькую ручку навстречу летящим снежинкам;

— Русский снег! Настоящий русский снег! Как много в России снега! Степенный, задумчивый, провожал он Бекетова до дверей.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

...Елена заметила Бекетова. На его волосах блестел тающий снег. На нём было длиннополое пальто с небрежно затянутым поясом. Его лицо казалось худым и усталым, и это худоба и бледность больно тронули Елену. Его глаза тревожно бегали по толпе, и она знала, что он ищет её. Увидел, улыбнулся, махнул рукой. Но этот взмах показался нерешительным и усталым, а глаза, устремленные на неё, были печальны и неуверенны. И это вызвало в ней сострадание.

Они сидели в кафе у окна и глядели, как метёт. Как в косой метели несутся автомобили, мелькают прохожие. Лица под меховыми шапками и платками возникали на мгновение и исчезали, чтобы больше никогда не появиться. Это напоминало мгновенные рождения и смерти.

— Расскажи, как прошли встречи с Градобоевым моих протеже. Ты ведь присутствовала на всех свиданиях, — Бекетов спрашивал вяло, без интереса, глядя на белую метель, словно ждал, когда снег подхватит и его и умчит, прекратив брэнное бытие с земными зыбкими смыслами. Перенесёт в иные миры, где откроются волнующие тайны. — Был ли прок в моих усилиях?

— Ещё какой прок! — Елена знала у Бекетова эти мгновения упадка, когда его кипучая энергия вдруг иссякала. Его неутомимый ищущий ум вдруг увядал, как увядают и иссякают солнечные струи фонтана. Казалось, его жизнь перемещалась из повседневной реальности в иную, где продолжал гореть его дух, светиться вопрошающий разум и где присутствовал кто-то, с кем было важно ему объясниться. В эти минуты Елена теряла его. Это пугало её: с ней оставалась его хладающая оболочка, а душа принадлежала кому-то другому. И это заставляло её страдать. Теперь же, испытав это былое страдание и ревность, Елена испугалась своих неисчезнувших чувств, своей неисчезнувшей к нему нежности. — Ещё какой прок от твоих ухищрений! Во-первых, пришёл Мумакин и просил у Градобоева, когда тот станет президентом, пост премьера. Они много шутили, Мумакин рассказывал, как разводит в деревне пчёл, как собирает грибы.

— Но Мумакин приведёт на митинг своих людей под красными флагами? — спросил Бекетов.

— Обещал, что вся площадь будет в красных флагах. Потом явился Лангустов. Сказал, что вход в Кремль ведёт не через избирательную урну, а через Спасские ворота, которые нужно штурмовать. Сказал, что войну недаром называют “театром военных действий”, и предложил превратить митинг в грандиозный политический театр, где схватка с ОМОНОм — часть драматургии. Градобоев согласился, и Лангустов перед уходом подпрыгнул, ударил ножкой о ножку и, не прощаясь, вышел. Градобоев сказал, что он только что видел Плисецкую...

Потом явился Шахес. Он был похож на улиточку, которая то прячется в раковинку, то высовывает рожки. Он предложит создать координационный

комитет, в который войдут все представители оппозиции. Последовал перечень всех еврейских активистов и правозащитников, так что Градобоев вынужден был спросить, не является ли он, Градобоев, лишним в этом списке. Они поладили, и Шахес обещал выступить на митинге. Так что я тебя поздравляю. Твои усилия не пропали даром.

Бекетов прижал ладони к глазам и некоторое время сидел молча. Елена рассматривала его руки, вспоминая, как их целовала, и тогда между его длинными смуглыми пальцами выглядывал крохотный жёлтый лютик — милый луговой цветочек.

Он отнял от глаз руки и вздохнул:

— Я устал. Устал притворяться. Каждый из этих самонадеянных нарциссов считает, что Россия остро в нём нуждается. Они хотят вскарабкаться на древо власти и угнездиться на вершине. Но само это древо должен кто-нибудь возвращать. Оберегать корни, охранять крону. Иначе оно может засохнуть, и эти честолюбцы окажутся на вершине мёртвого дерева.

— Ты садовод. Возращаешь древо Государства Российского.

Он посмотрел на неё ожившим, благодарным взглядом, и она почувствовала, что он нуждается в ней. Хотела вдохновить его, удержать в его глазах этот мелькнувший свет.

— Ты всегда отличался от чванливых чиновников, от напыщенных депутатов, от кремлёвских камергеров. Ты был служивый человек, но служил не Чегоданову, а государству. Оно для тебя было живым, одухотворенным, как икона, на которую ты молился. Ты исповедовал религию государства, которое было для тебя божеством. Твоя вера увлекала меня. Ты открыл мне множество красот, множество знаний, множество переживаний. Я ими живу по сей день.

Бекетов благодарно улыбался. Но в улыбке его оставалась горечь, словно он сожалел об утраченном времени, когда они были вместе.

— Ты помнишь нашу поездку в Новгород? Ты проводил какое-то совещание, с утра до ночи пропадал с губернатором, а я гуляла по кремлю, любовалась иконами новгородского письма, стояла перед памятником Государства Российского. Я вошла в “Софию”, когда прихожане готовились к причастию и все вместе, вслед за священником, читали “Отче наш”. Я стала читать изумительные слова, которым меня научила бабушка: “Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое”... И вдруг что-то случилось. Этот древний могучий храм, сумрачные голубые и алые фрески, лица, озарённые свечами, и бабушкино любимое лицо, и моя внезапная любовь, и восторг, и вера, соединившая меня с прихожанами, с седобородым батюшкой, с Ангелом в синем хитоне. Чудесная, могучая сила кольхнула храм, и лампы, и золотой иконостас словно ожили, и я вошла в их таинственную глубину, где скакали кони, плыли челны, сражались на озёрном льду воины. Я пережила восхитительное чудо, когда сердце переполнилось небывалым счастьем, верой в бессмертие. Я не сказала тебе об этом чуде. Но после этого стала понимать твои пророчества о непрерывном русском времени, о пасхальном свете русской истории, о райских смыслах, о которых говорится в молитве: “Да придет Царствие Твое, да будет Воля Твоя”...

Елена видела, как светлеют глаза Бекетова, словно умоляют продолжить рассказ. Он нуждался в ней, она утоляла его печали, вдохновляла в минуту усталости и неверия.

— А потом, ты помнишь, мы поехали за Волхов, в зелёные холмы, где стоит божественный храм Спаса Преображения на Нередице. Такого изящества, простоты и гармонии трудно сыскать. Храм казался то нежно-розовым, то прозрачно-голубым, то девственно-белым. Внутри на стенах кое-где сохранились фрески. Мы вошли в этот храм, и мне показалось, что время исчезло: нет ни прошлого, ни будущего, а безвременная вечность, как в раю. Храм был, как чёлн, который взлетает в небо и возвращается на землю. Уносит в небо молитвы, а приносит на землю благодать. Святые, пророки и праведники на фресках казались экипажем этого космического корабля. Мы с тобой совершили путешествие на небеса, в райский Космос, и вернулись

обратно, принеся на Землю Фаворский свет. Тот самый свет, который, как ты говорил, разлит во всей русской истории.

Он кивал, улыбался, протянул к ней руку, желая коснуться её руки. Испугался, отвёл руку, провёл по своему широкому лбу, словно стирал тусклое время, отделявшее их от тех благословенных дней.

— А потом ты захотел показать мне могилу Велемира Хлебникова, златоуста и певца Русского Будущего. Мы поехали в глухую деревушку среди непаханных нив, нищих сёл и разбитых дорог. И на сельском кладбище увидели рухнувшую деревянную церковь, чёрную, сгнившую, без глав, с покосившимся коробом. Ты сказал, что это корабль, на котором Хлебников совершил своё последнее странствие в то будущее, которого нет на Земле, а только на Небе. Мы нашли его могилу среди старых крестов. Могила была под одинокой, очень прямой сосной, стремящейся ввысь. Маленький памятник работы Вячеслава Клыкова напоминал купель, в которой лежал нежный отрок в короне. “Космический мальчик”, — сказал ты. А я сказала: “Маленький принц”. Мне было так больно, так чудесно у могилы волшебника и мечтателя, выкликавшего Русское Будущее, верящего в Русское Чудо. Этим чудом оказался корабль истлевшего корабля, одинокое дерево, крохотный памятник на безвестном кладбище. Ты поцеловал памятник, поцеловал ствол сосны и прочитал стих Хлебникова: “Русь, ты вся — поцелуй на морозе”...

— Да, да, всё это было, — воскликнул Бекетов, — Наши жизни мы проживаем в предчувствии Русского Чуда, в ожидании Русской Победы. Мы умираем, не дождавшись победы, передаем это ожидание сыновьям и внукам, чтобы и они уповали на Чудо. Наше великое чаяние Русской Победы через все поражения, все беды и сокрушения...

Елена видела, как преобразилось его лицо. Она всегда пугалась этих мгновенных преобразений и восхищалась ими. Исчезли тени печали, разгладились горькие складки. Глаза округлились, стали наивными и восторженными, как у ребёнка. Седина стала казаться свечением, окружавшим голову. А голос таинственно зазвенел, заволновался, как у проповедника.

— Наша Русская Победа, наша сокровенная мечта о благодатном царстве! О наших священных пространствах между трёх океанов, которые вновь сойдутся, чтобы никогда не распасться. О симфонии народов, культур, божественных промыслов, которые соединят род людской в цветущую семью, где каждый — творец, герой, духовидец. Где государство, царь или вождь — рачительный и искусный садовник, возвращающий Райский сад. Где нет вражды, насилия, порока, а только восхитительное творчество, лучистая любовь, всеединный порыв, преодолевающий смерть. Смерть человека и реки, цветка и звезды небесной...

У Елены кружилась голова, словно эти слова, тягучие, как мёд, благоуханные, как смола, туманили окружающий мир. И открывалась бесконечная даль, бездонная лазурь, в которой было невозможно дышать, но которая влекла в свою необъятную глубину.

— Мы ведь верим с тобой — Русская Победа грядёт. Верим — появится Русский лидер, который сквозь дым и мрак, сквозь всю непроглядную мглу узрит Звезду Победы. Этот лидер живёт среди нас. Надо взглянуться в его лицо, окружённое дивным свечением. Надо пристально посмотреть ему на грудь, где мерцает бриллиантовая звезда. Лидер Победы живёт среди нас.

— Кто он? — спросила Елена. — Градобоев?

— Не знаю. Может быть, он. А может, отрок из города двух цариц, который идёт сейчас по заснеженной улочке... в оконцах мигают огоньки новогодних ёлок, у него под ногами поскрипывает снег, а над головой — чуть заметное золотое свечение...

Она слушала его с упоением, как прежде. Подпадая под волшебное воздействие его слов, смысл которых исчезал, превращался в блаженство. Она не могла противиться его чарам, любила его, хотела, чтобы речи его не кончались, и они тели в таинственную лазурь, обнявшись. Чтобы благоухали смолой те красные сосняки, и на губах не таял мёд его поцелуев.

— У Русской Победы есть тайна. Пасхальная тайна русской истории. Тайна в том, что Русская Победа, несмотря на всю тьму и кромешность, не-

взирая на русский мор и несчастья, на пепелища городов и виселицы в деревнях, на танки с крестами под Волоколамском и Истрой, несмотря на обманщиков в Кремле и преступников в судах и церквях, — Русская Победа уже одержана. Она уже сияет из будущего, как чудесный бриллиант. Эта дивная Победа не является плодом наших усилий и подвигов, а наши усилия и подвиги являются плодами этой одержанной Русской Победы. Она, как вселенский магнит, притягивает к себе все линии русской истории. И всё, что мы ни делаем, все наши помыслы, ухищрения, наши неудачи, провалы, наши негодные средства и злые свершения — всё освящено уже случившейся, уже одержанной, уже воссиявшей Русской Победой.

— Ты считаешь, что все деяния, даже злые, даже преступные, совершенные во имя Победы, оправданы?

— Не знаю. Мне кажется, когда Сталин стоял на Мавзолее, принимая парад Победы, и к его ногам падали штандарты разгромленных фашистских дивизий, на его лице не было торжества, а была глубокая тишина. Вся кровь, всё насилие, вся непомерная жестокость были оправданы священной Победой. Это она, лучезарная и священная, потребовала столько жертв и мучений, превратила русский народ в народ-мученик, а значит — в народ-победитель.

Она соглашалась с ним не разумом, а своим любящим сердцем, в котором исчезла обида и попранная гордыня. Она верила, что их разлука была вынужденной и недолгой, и он, покинув её, продолжал служить всё той же ослепительной мечте. Странствовал, сражался, терпел лишения и, наконец, вернулся. И она приняла его, такого знакомого и любимого.

Они вышли из кафе, когда стемнело, и в метели неслись огни, пылали витрины, туманились алые и золотые рекламы. Елена не хотела, чтобы он уходил. Её лицо горело в метели, а в глазах таял снег, и блуждали таинственные видения, навеванные его чарами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Градобоев набивал в компьютере калиброванный текст:

“Если мы свободны и бесстрашны. Если хохочем в глаза насильникам. Если презираем кремлёвских лгунов и стяжателей. Если чёрная тень Чегоданова не в силах заслонить золотое солнце России. Если благородство сильнее подлости. Если правда прекрасней лжи. Приходите ко мне на митинг в воскресенье на проспект великого Сахарова, в 17 часов, и мы скажем Чегоданову, что ему больше не быть президентом. Что его презирают в городах и ненавидят в деревнях. Что свобода идёт по земле, как весна, и тираны кончают свой век в петле или в кровавой воронке от взрыва. Жду вас, други мои, и мы победим на выборах. Ваш Градобоев”.

Он заряжал этим текстом свой блог, как снайпер вгоняет в ствол пулю, предназначенную для попадания в переносицу. Пуля просверлит лобную кость, взорвётся в мозгу, выдавит огромные синие пузыри глаз, и противник будет долго падать из золочёной ложи в переполненный зал театра с красным сафьяном кресел.

Градобоев туманно улыбался, предаваясь сладостному зрелищу. Не торопился нажать на клавишу. Не торопился утопить спусковой крючок. Не торопился метнуть бесшумную молнию в громадный город, переполненный миллионами жизней. Предвкушал вторжение своей воли в людское скопище, которое затрепещет от восторга и ужаса.

Градобоев утопил клавишу. Так взрывается тополиный пух, скопившийся на асфальте, когда к нему поднесут зажжённую спичку. Так разносится на гигантские расстояния электрический ток при первом повороте ротора. Так бесчисленные крупницы железа поворачиваются все в одну сторону, если к ним приблизить магнит. Так тысячи рыб собираются в громадную стаю и несутся в пучине по невидимой силовой линии. Так расширяется эпидемия от одинокого вируса, попавшего в кровь, охватывая континенты. Точно так же, со скоростью мысли, распространялась в социальных сетях весть о ми-

тинге на проспекте Сахарова. Эта весть летела по сайтам газет, по форумам правозащитных организаций, по блогам популярных ньюсмейкеров. Её подхватывали студенческие кружки, служащие корпораций и банков, художники, поэты и музыканты. Её ловили компьютеры спецслужб и администрации президента, иностранные посольства и зарубежные информагентства. Интернет кипел, бушевал, ликовал, проклинал. Миллионы возбужденных людей глотали эту бестелесную сладость, пили горькие яды. Пьянели, отзывались на эту весть своими огненными репликами, стихами, прокламациями.

Бекетов наблюдал, как движутся толпы на митинг. Чёрные потоки текли от ближайших станций метро, людские сгустки катились с окрестных улиц, с площади Трёх вокзалов, куда прибывали переполненные электрички. Над головами клубился пар, от жгучего мороза заслонялись шарфами, поднятыми воротниками. Устье проспекта было перегорожено полицейскими кордонами, стояли рамки металлоискателей, полицейские охлопывали проходивших людей, проверяли сумки, рюкзаки. Кто-то в ответ язвил и смеялся, кто-то мрачно огрызался, другие послушно поднимали руки, поворачивались вокруг оси, проскальзывали в рамки. Всё пространство проспекта, ограниченное призматическими зданиями, застеклёнными фасадами, медленно наполнялось толпой, шевелилось, оглашалось рокотом, шелестом, гулом. На вершинах домов горело малиновое ледяное солнце. Воздух искрился от летучего инея.

Бекетов, кутаясь в шубу, опустив уши меховой шапки, смотрел, как люди, проходя сквозь рамки, начинают разворачивать флаги, прикрепляют к древкам транспаранты. Были государственные трехцветные флаги. Были чёрно-золотые — имперские. Было много красных полотнищ. Вздмались флаги с эмблемами национал-большевиков. Струились экзотические стяги неизвестных организаций. Штандарты всевозможных союзов и объединений. Бекетов, рассматривая флаги, убеждался, что его усилия не пропали даром. Обилие красного говорило о присутствии коммунистов. Чёрные серпы и молоты, неуловимо напоминавшие свастики, свидетельствовали о последователях Лангустова. Пестрота правозащитных эмблем, радужные полотнища гей-сообществ указывали на сторонников Шахеса.

Бекетов торжествовал, волновался, видел, как его усилия, слабые толчки воли управляют лавиной людей. Он двигал массивы общественных настроений, перемешивал их в заданных пропорциях, создавал в замкнутом пространстве проспекта гремучую смесь. Как алхимик, соединял в реторте вещества и растворы, надеясь получить “философский камень” или — чудовищной силы взрыв. В чёрное варево толпы вливались всё новые и новые группы. Бекетов, как повар, готовил фантастическое блюдо из людских страстей, ненависти и обожания. Невидимый, священнодействовал на кухне, где варился *жирный борщ* революции.

Мимо проходил парень, по виду — студент, в капюшоне, с рюкзачком за плечами, с белой тряпичей на воротнике. Весело посмотрел на Бекетова, воздел два пальца, изображая символ победы. Пробежали три девушки, в меховых сапожках, в нарядных шубках, румяные и красивые, засмеялись, помахали бумажными белыми розами. Проковыляла женщина в замызганном камуфляже, с клюкой, в мужской шапке-ушанке, из-под которой истово сверкали глаза ветерана правозащитных митингов. Подскакивая и пританцовывая, пробежал странный человек в облачении средневекового шута: в красной хламиде, красном островежом колпаке, красных чулках с загнутыми кверху носами. Бекетова поразило его измождённое лицо с сумасшедшими гримасами боли и счастья.

Вдалеке голубела трибуна, окружённая чёрной толпой, разноцветьем транспарантов и флагов. Люди стекались к проспекту, просачивались сквозь рамки, сливались в густое месиво, которое дышало и горбилося.

Митинг рокотал, ухал, гремел, как бубен, сотрясая морозный воздух, призы домов, врытые в землю фундаменты. Площадь пританцовывала, подпрыгивала, колыхала полотнищами. Казалось, огромный шаман бьёт в свой колдовской инструмент, качаются здания трёх вокзалов, взлетает и падает идущая от Каланчёвки электричка.

Градобоев, распахнув ворот шубы, стянув косматую шапку, выдыхал длинные струи пара, из которых летели в толпу огненные слова. Они взрывались, как снаряды, и в местах попадания открывалась полная воплей воронка. Толпа смыкалась, и только яростно крутились водовороты знамён.

— Наша митингующая площадь — это вся Россия! К нам на митинг пришёл весь оскорблённый народ, который принёс Чегоданову чёрную метку! Все нищие старики и старухи, у которых на рубище блестят ордена за труд и за подвиг! Все сироты и беспризорные, которые ночуют на помойках и свалках! Все обманутые в судах и изнасилованные в полиции! Все, кто требует правды и справедливости, а им в лицо суют полицейскую дубинку и фальшивый бюллетень избиркома! Мы говорим Чегоданову: “Ты лжец и насильник! Ты вор и развратник! Уходи, пока цел! Ты хочешь заранее сфабриковать результаты выборов! Но знай: если это случится, через час после того, как твои холуи в Избиркоме объявят твою победу, мы выйдем на улицу и выгоним тебя из Кремля!”

Градобоев был дрессировщиком, полосующим хлыстом непокорного зверя. Площадь редела, крутила красными стягами, словно открывалась чёрная пасть с алым языком. Чудовище рыкало, вставало на задние лапы, готовилось кинуться на дрессировщика и рвать его на куски. Но тот бросал в ревущую пасть комья сырого мяса, и чудовище жадно глотало, захлёбывалось, давилось, забывая о дрессировщике.

— Неужели Чегоданову не идут впрок уроки Ливии и Египта? Неужели он не боится, не чувствует, что его ненавидят? Неужели он не видел кадры, на которых народ терзает окровавленное тело Каддафи? За каждый сфабрикованный бюллетень, за каждый украденный голос Чегоданов заплатит страшную цену!

Он чувствовал толпу, как смертельную опасность, которая может его уничтожить. Пил эту опасность, наслаждался безумной игрой, как наслаждается альпинист, повисший над пропастью. Как одиночка-яхтмен, попавший в водоворот океанского смерча. Он дразнил толпу, увлекал её за собой, собирал в сгусток её разрушительные энергии. Он был громовержец, сжимающий в кулаке раскалённые молнии, он был золочёной статуей на носу корабля, рассекавшей грудью свирепые волны.

— Я обещаю вам, братья: мы придём в Кремль! Мы соберёмся в Георгиевском зале, где золотом начертаны имена гвардейских полков! Мы поднимем бокал за русский народ, за Победу! — Градобоев воздел кулак. — Победа! — выдохнул он. — Победа!

Площадь единым дыханьем и рыком вторила:

— Победа! Победа! — и от этого рыка поднялись в зелёное небо тысячи московских ворон, метались, загораясь золотом в лучах последнего солнца.

Мумакин крепко расставил ноги, сжимая в кулаке меховую кепку, и был подобен великому предшественнику на башне броневика. Жадно, тревожно и вместе с тем счастливо и опьяненно смотрел на площадь. Там было множество красных флагов, неслись приветствия его сторонников.

— Мы говорим представителям исполнительной власти: “Проведите честные выборы!” И на смену вам придут те, кто имеет опыт руководства огромной страной. Те, кто строил великие заводы и университеты, выиграл самую страшную в истории войну, вывел человека в Космос! Посмотрите, во что вы превратили Россию! В обломок территории с вымирающим населением, у которого больше нет индустрии, армии и науки! Мы, коммунисты, готовы поддержать Градобоева, войти в правительство. У нас есть команда. Есть опытные экономисты, политики, деятели культуры. Мы готовы немедленно начать восстановление страны!

Ему в ответ кричали: “Ура!” — размахивали полотнищами, пускали вверх розовые и красные шарики. Мумакин упивался: его принимала площадь, видела в нём борца за свободу. Он выдержал испытание, сохранил партию, уберёт её от смертельных ударов. Его компромиссы оборачиваются ослепительным успехом. Власть, которой его пугали, которую у него отнимали, теперь падает ему в руки, как созревшее румяное яблоко.

Мумакин выбросил вперёд кулак с зажатой шапкой, застыл, как бронзовое изваяние. Красные флаги бушевали, как паруса, и с разных концов площади неслось восхищённое: “Союз! Союз!”

Елена в своей негреющей норковой шубке смотрела из-за кулис на площадь. Сгущались сумерки, толпа напоминала мостовую, вымощенную головами. Когда начинался рёв, Елене казалось, что к её телу прижимают раскалённый морозом шкворень, она задыхалась, сердце останавливалось. Она видела Градобоева. Возбуждённый и яростный, он готовился к броску, окутанный паром, в мохнатой шубе, как поднявшийся из берлоги медведь. Видела Бекетова, который в куртке, отороченной мехом, зачарованно смотрел на площадь. Казалось, что-то считал, измерял, как вулканолог у края кратера. Ей было невыносимо. Оба они делали её жизнь ужасной. Оба влекли к себе, и оба отталкивали. Обоим она лгала, и оба не хотели замечать её лжи. Обоим она служила, уверяя себя, что служит великим целям, и ради этих целей, ради пленительной Русской Победы должна терпеть унижения. Но эта ложь обесценивала служение. Ей хотелось убежать с этой трибуны, чтобы не видеть раздвоенного, яростного Градобоева, бледного, шепчущего Бекетова. Скрыться, чтобы избегнуть несчастья. Она не понимала смысла произносимых речей, но когда площадь взрывалась рёвом, ей казалось, что из недр площади вырывается то один, то другой бульжник, бьёт в неё, и её побивают камнями.

Выступал Лангустов, в чёрной кожаной куртке, в фуражке, с бородкой и в миниатюрных очках. Его маленькое морщинистое лицо пребывало в мерцающем пятне света, который направляли на него телегруппы у основания трибуны. Ещё несколько корреспондентов и репортёров направили на него объективы. Он знал о телегруппах, о журналистах из “Либерасион” и “Пари матч” и позировал. То делал энергичный шаг вперёд, салютуя сжатым кулаком. То резко оборачивался в профиль, замирая, позволяя сделать эффектный кадр. То застывал, прижимая руки к бёдрам, как солдат в почётном карауле.

— Вся эта власть, этот ужасный Кремль — всего лишь тухлое яйцо, в котором давно сдох птенец. Не нужно бояться власти! Власть существует, пока существует наш страх. Возьмём в руки ремни с пряжками и велосипедные цепи и пойдём на ОМОН. И он, видя наши волчьи улыбки, наши весёлые звериные глаза, разбежится. Революцию делаем герои. Вы — герои, избранные свободы. “Свобода! — говорю я вам. — Свобода или смерть”. Мы, не боящиеся смерти, делаем историю России. Мы, избранные свободы, пишем великолепную книгу войны. “Свобода или смерть!”

Он дёргал кулаком, словно бил в колокол. Его сторонники, одетые в кожанки, были похожи на чёрных жуков в блестящих хитинах. На красных, с белым кругом знамёнах трепетали чуткие чёрные пауки. Знамёна наклонились в сторону вождя, и множество восхищённых голосов вторило: “Свобода! Свобода!.. Смерть! Смерть!”

Бекетов, прячась под меховой кашпошон, неотрывно смотрел на площадь, на её конвульсии, на вздутия и впадины, выбросы и всплески энергий. Соизмерял с этими выбросами слова ораторов, их политические воззрения, остроту или затуманенность смыслов. Площадь казалась ему громадной машиной, которую он сконструировал. Могучим реактором, которым управлял: двигал графитовые стержни, замедляя или убыстряя реакцию; контролировал уровни радиации, балансируя у красной отметки; измерял температуру раскалённого пара, силу тока на клеммах генератора. Он использовал топливо людской ненависти и обожания, переводил их в социальную энергию протеста, воздействовал этой энергией на электоральные предпочтения, политические симпатии, будущие результаты выборов. Он проводил эксперимент, последствия которого были до конца не ясны. Он увеличивал мощность реакции, не зная допустимого предела. Управлял множеством факторов, не зная, какой из них — главный: страстная воля Градобоева или осторожное лавирование Мумакина, революционное безумие Лангуствова или социальный страх, живущий в сознании людей. Он сознавал, что поступает вероломно и гадко по отношению к Елене, использует её вспыхнувшее чувство. Но это вероломство было оправдано громадным риском, которому он подвергал го-

сударство. Все выступавшие на митинге, все, наполнявшие площадь, и он сам, измеряющий социальную энергию митинга, и Елена с несчастным лицом, и Чегоданов, наблюдавший митинг перед монитором, — все они были топливом громздного реактора, толкавшего вперёд русскую историю.

Бекетов видел, как в сумерках мерцает на площади множество вспышек, и ему казалось, что это искрят проложенные в толпе провода.

Выступал Шахес. Маленький, круглый, в колючей шубе, он был похож на смешного ежа, вставшего на задние лапки. Водил по сторонам чутким носиком, словно принюхивался, чем пахнет окутанная дымкой толпа. В его пальчиках трепетал замусоленный червячок.

— Мы собрались здесь, чтобы заявить во всеулышанье: “Соблюдайте права человека! Соблюдайте гражданские права! Нет ксенофобии! Нет неправым судам! Свободу политическим заключённым”!

Шахес прокричал всё это в микрофон и замер, испугавшись собственных слов. Стал пугливо оглядывать площадь, не протискиваются ли к трибуне молодцы из ОМОНа, ни летят ли в его сторону яйца, брошенные нацистами. Червячок в его пальцах испуганно замер. Но площадь одобрительно рокотала, развевались радужные флаги геев, вздымались транспаранты правозащитников. Шахес осмелел:

— Пусть меня услышит кандидат в президенты Чегоданов. Пусть меня услышат лидеры европейских государств. Пусть меня услышит президент Соединенных Штатов: мы, русские, хотим жить в цивилизованной стране. Это наш выбор!

Шахес, при мысли, что его слова слышат сейчас в Кремле, на Капитолийском холме, в Берлине, Париже и Лондоне, так разволновался, что язык его стал отчаянно вращаться. Мысли обгоняли слова, он проглатывал согласные, грассировал. Его речь превратилась в стрёкот, свист, щебет, и в этом птичьим треске можно было с трудом разобрать: “Ходорковский”, “Магнитский”, “Политковская”. А когда он выговорился, иссяк и напоследок вновь обрёл дар человеческой речи, только и смог, что выкрикнуть:

— Господа, мы же люди! — он поднёс к губам своего загадочного червячка, словно собирался его съесть. Раздумал и убежал вглубь трибуны.

И площадь скандировала:

— Люди! Люди!

Выступали представители творческой интеллигенции.

Художник Скороходов выскочил на трибуны в птичьем оперении, в маске Чегоданова. Он подпрыгивал, хлопал себя по бёдрам, изображая полёт, тонко выкрикивал:

— Чегоданов, стань птицей! Улетай туда, где раки зимуют! Счастливого полёта!

Следом слово получил писатель Лупашко. Он вынес на сцену эмалированный таз. Лил в него клейкую жижу. Кидал обрывки газет. Смахивал с тарелки пищевые объедки. Плюнул и крикнул:

— Чегоданов, разве ты президент? — в тазу зашипело, заискрилось, и поднялось мутное облако дыма. Лупашко кланялся, как факир. Площадь в восторге редела.

Завершал митинг Градобоев. В распахнутой шубе, с заиндевельными волосами, он вырвался на край трибуны, подняв вверх сжатый кулак. Словно командир, поднимающий в атаку солдат. Грудь навстречу пулям. Офицерский ТТ в кулаке. Крик, переходящий в певучий, торжествующий вопль:

— На нашей стороне — правда! На нашей стороне — русский народ! На нашей стороне — Господь Бог!

Площадь неистово редела. Он был её кумиром, её божеством. Он повелевал ею. Мог приказать — и она окаменеет. Мог вытянуть перст указующий — и она вся с гулом помчится туда, куда он указал. Мог огненным взглядом, как небесным лучом, ужалить, воспламенить, и она вся превратится в бушующий пожар.

Градобоев жёг её глазами, стремился запалить чёрное варево, страстно желал, умолял, чтобы среди чёрных голов вспыхнул огонь. И вдруг там, где летал его жгучий взгляд, над толпой взлетело узкое пламя: возник человек,

бегущий по головам. На нём было оранжевое облачение и красный колпак шута. На загривке бушевало рыжее пламя. Он беззвучно кричал, гримасничал, поливал себя из пластмассовой бутылки прозрачной жидкостью, которая воспламенялась, и он, как жуткий факел, скакал по головам и кривлялся. Провалился вниз, в толпу, исчез в чёрной гуще, и оттуда, куда он канул, поднимался дым.

Градобоев ужасался и восхищался зрелищем самосожженца, который подтвердил колдовскую мощь его взгляда. И этот взгляд продолжал поджигать. В разных концах площади, из толпы вверх полетели пучки огня, ослепительные струи. Взрывались в высоте разноцветными вспышками, пылающими букетами, словно загорались драгоценные листья, озаряя ликующие лица и замёна. Восторженными кликами славилась площадь салют.

Бекетов видел счастливого, с безумным взором лицо Градобоева. И Елену, её бледное, ужаснувшееся лицо, обращённое к пучкам небесного пламени.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Бекетов прильнул к телевизору, где начиналась программа Михаила Немвროзова “Смута”. Немвровов, статный, с лицом записного красавца, в чёрном костюме и белой манишке с галстуком-бабочкой, был обличительно-страстным.

— Всмотритесь в эти неистовые лица! В эти жестокие жесты! В эти гримасы ненависти и злобы! — на экране возникали Градобоев, воздевший кулак. Мумакин с шапкой в руке, Лангустов с бородкой Троцкого, Шахес, крутивший в руке загадочного червячка. И множество других лиц кричащей толпы. — Они хотят не свободы, а крови! Не справедливости, а насилия! Не прав человека, а виселиц и плах! Снова на Россию надвигается кровавая смута! Вот так это было в феврале семнадцатого года! — На экране побежали кадры хроники с демонстрациями в Петрограде, с Керенским на митинге, с флагами и транспарантами, с солдатами и рабочими. — А чем это кончилось? — Вздымались чёрные взрывы, мчалась свирепая конница, падали главы храма Христа Спасителя, тянулись по дорогам беженцы и погорельцы, наганы стреляли в затылки стоящим на коленях людям. — Вот так это начиналось в августе девяносто первого! — Ликующие демонстранты братались с танкистами у Белого дома, толпа несла по Садовой громадное трёхцветное полотнище, под свист и улюлюканье сволакивали с постаментов памятники. — А чем завершилось? — Страшные развалины Грозного. Чеченцы режут горло контрактникам. Вагоны, оборудованные под морги, полные скрюченных трупов. — А вот как начиналась “арабская весна”, эта “оранжевая революция” в Северной Африке! — Залитая толпой громадная площадь Тахрир. Мечети, полные благоговейно молящихся. — А вот чем завершилась “весна”! — Пылающие развалины Триполи, пикирующие самолёты, изуродованный труп Каддафи, в который неистово продолжают стрелять. — Сегодня на Болотную площадь и проспект Сахарова выходят борцы за права человека, но завтра они будут рубить головы и устраивать публичные казни!

Возникло лицо Градобоева, его окутанный паром рот:

— Неужели он не боится, не чувствует, что его ненавидят? — И велел за этим снова расплющенное, изрытое пулями лицо Каддафи, и автоматные очереди, вонзающие в труп свинец.

Бекетов восхищался артистической работой Немвровова.

— Ай да Мишка, ай да сукин сын! — смеялся Бекетов. Его опасный эксперимент удавался. Чем гуще и громогласней была толпа на площади, тем сильнее было отторжение обывателей, испуганных угрозой “великих потрясений”, которые истребят их утлый быт и погубят их скромный достаток.

— О, Родина-мать! О, Родина-мать! — слёзно воскликнул Немвровов. На экране появилась корова, пятнистая, чёрно-белая, с худыми боками и вислым выменем. Она ошалело бежала, понукаемая погонщиком, который дубиной охаживал её бока. — О, Родина-мать!

Корову загнали в тесный железный бокс. Облили струей воды, которая расплощивалась о её голову блестящей бронхой. Опустили к голове электрод, вонзили в лоб между рогов. Польшнула вепышка. Корова рухнула на железное дно, которое растворилась, и оглушённая туша полетела вниз, на кафельный пол, озарённый лампами. Работники набросили на задние ноги коровы стальную цепь, вздёрули, и корова закачалась, забилась, мотая оглушённой головой. Работник блестящим ножом полоснул её по горлу, и оттуда хлынула чёрно-алая кровь, громко забила в жестяное корыто.

— Родина-мать! Родина-мать! — рыдал Немвровоз. И тут же возникло лицо Градобоева, восхищённое и неистовое.

Работник бензопилой отсёк копыта, обрубки упали на кафельный пол. Ноги дергались белыми костями, и из них хлестала кровь.

Работник ножом вёл разрез по коровьему брюху, а другой с треском свлакивал шкуру, словно снимал тяжёлую шубу. Красная липкая туша качалась на цепи, и в голове жутко сверкали чёрные остановившиеся глаза.

— Родина-мать! Что они делают с тобой, о, Родина-мать! — Лицо Градобоева, иступлённое, с искажённым ртом занимало весь экран.

Ударами тесаков вскрывали чрево. Вываливали красно-лиловые кишки. Громадное, как чёрный булыжник, сердце. Липкую, как моллюск, печень. Работник бензопилой раскраивал тушу надвое, и две половинки раскочивались, розовея рёбрами. Работники, голые по пояс, перепачканные кровью, казались палачами.

— За что они тебя, наша матушка! За что они, изверги, мучают тебя и казнят! — Площадь волновалась толпой. Трибуна казалась эшафотом. На ней Градобоев улыбался в безумном упоении.

— Вглядитесь в это лицо! Не Антихрист ли пришёл на русскую землю? — Возникло лицо Градобоева в счастливой судороге, озарённое огнями.

— Родина, отстоим тебя от захватчиков! Есть кому тебя защитить!

Возник истребитель, замедляющий бег по бетонному полю. Из кабины поднимался Чегоданов в камуфлированном облачении, в стратосферном шлеме.

Шёл лёгкой походкой, и его приветствовал строй солдат.

Немвровоз эффектно простился со зрителями. Бекетов налил бокал шабли и медленно, с наслаждением выпил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В Доме Правительства собрался предвыборный штаб Чегоданова, чтобы обсудить последствия митинга на проспекте Сахарова. В кабинете, во главе стола, сидел Чегоданов, внимательный, строгий, в своем любимом темно-синем галстуке, который он надевал в особо торжественных случаях. Начальник штаба режиссёр Купатов, сумрачный и усталый, похожий на львого льва, вертел в руках неизменную трубку с холодным пеплом. Подносил её к седым усам и вдыхал сладостно-горький дух. Глава президентской администрации Любашин с траурным лицом, весь в чёрном, напоминал печального пастора, которого пригласили на исповедь к неизлечимо больному. Министр внутренних дел Закиров, с морскими звёздами на плечах, преданно смотрел на Чегоданова, обнаруживая трепетную готовность выполнять его указания. Глава Центральной избирательной комиссии Погребец, с железной бородой старообрядца, с огромным иконописным лбом, был невозмутим и выражал готовность стоически встретить любые превратности судьбы. Начальник личной охраны Божок, с крепкими плечами и могучей шеей, недружелюбно поглядывал на собравшихся, ревнуя их к Чегоданову. На мясистом безбровом его лице остро поблёскивали синие глазки, то злые, то весёлые. За столом оставались свободные места. Не занимая их, в стороне, в удобном кресле сидел президент Стоцкий. Ему не было места во главе стола, где восседал Чегоданов, но он не желал выгладеть подвластным Чегоданову, подобно остальным членам штаба. Поэтому занял нейтральную позицию, вне иерархии. Так же в стороне сидела Клара, неизменная спутница Чегоданова, с распущен-

ными, чёрно-стеклянными волосами, с глубоким вырезом платья, в котором круглились смуглые груди. Её яркие восточные глаза с обожанием смотрели на Чегоданова и с недоверием и отчуждением — на придворную свиту.

— Я приветствую всех собравшихся и прошу высказать свои соображения относительно последних событий, случившихся в Москве на протестных митингах. — Чегоданов говорил тихо и вкрадчиво, как это водилось за ним, когда дело касалось особенно тревожных событий. — Начнём с вас, Ярослав Аркадьевич, — обратился он к режиссёру Купатову.

— Признаюсь, я ходил на митинг и смотрел, не отрываясь. Это грандиозное действо, в нём было что-то античное: отдельные актёры и сопровождавший их хор. И когда в морозном небе, над тысячной толпой взлетел салют, я, признаюсь, пережил момент катарсиса. Отличная режиссура, отличный состав актёров, отличный театр под открытым небом. — Купатов со значительным видом умолк, полагая, что на подобную оценку не способен никто другой.

— Приятно узнать, что вы получили художественное наслаждение, Ярослав Аркадьевич, — губы Чегоданова побледнели и сложились в трубочку, что выдавало в нём крайнее раздражение. — Значит, у оппозиции есть талантливый режиссёр. А разве у нас нет талантливого режиссёра? Разве вы, Ярослав Аркадьевич, не способны предложить встречную режиссуру? Разве вам нечего нам предложить?

— Ну, отчего же. Я думал об этом. Мы тоже могли бы ответить. Например, народный молебен об изгнании из Москвы Антихриста. По телевизору уже прозвучало, что Градобоев — Антихрист. Так вот, в воскресенье на всех московских церквях звонят колокола, и от церкви к церкви идут крестные ходы с хоругвями и иконами. Они стекаются к проспекту Сахарова, где проходил митинг, и священники кропят заклятое место, изгоняя из Москвы злой дух. Это транслируется на всю Россию, — всё это Купатов произнёс не слишком уверенно. Было видно, что театральное действо не до конца им продумано. Чегоданов язвительно улыбнулся и тихим шелестящим голосом произнёс:

— Спасибо, Ярослав Аркадьевич. Это напоминает “Хованщину”.

Глава администрации Любашин, стараясь угадать тайный замысел Чегоданова, чтобы быть созвучным этому замыслу, произнёс:

— Не пора ли начать спецоперации, Фёдор Фёдорович? Почему бы нам не запустить в интернет фотографию Лангустова, где он играет в постели с хорошеньким белокурый мальчиком? Не думаю, что это понравится нашему консервативному народу. А Шахес, этот вероломный прохвост! Мы расскажем публике, как его благовидный фонд получает деньги американских евреев, и эти деньги идут на подавление русских националистических организаций. Что касается Градобоева, у него есть “ахиллесова пята”, куда можно вонзить острое, — это его любовница Елена Булавина. Ей можно сделать больно, и это заставит Градобоева остановиться, — Любашин произнёс всё это тихо, потупив глаза, в своём чёрном облачении похожий на лютеранского пастора.

Клара гневно блеснула лучистым ненавидящим взглядом. Чегоданов уловил её порыв, гася эту вспышку ненависти.

— Ваши предложения не блещут новизной. Никто не удивится, если у Лангустова в постели найдут козу. У Шахеса еврейские деньги? А вы хотите, чтобы это были юани? Что касается Градобоева, он только и ждёт, чтобы его сделали мучеником. Вместо одной любовницы он найдёт другую. К тому же, с женщинами мы не воюем. У каждого из нас есть женщина, а значит — “ахиллесова пята”. — Чегоданов взглянул на Клару, и та ответила ему благодарным обожающим взглядом. — В наших действиях мы должны соблюдать осторожность. Общество перенасыщено протестными настроениями. Один неверный шаг — и возникнет цепная реакция революции. Нужны нетривиальные системные решения.

— Системное решение есть, Фёдор Фёдорович, — министр внутренних дел Закиров шевельнул плечами — все его звёзды ожили. Казалось, сейчас они начнут падать с плеч и разбегаться по столу. — Спецоперации на Кавказе становятся всё многочисленнее. Война на Кавказе — весомый повод отменить выборы. Мы выиграем эту войну, и вы проведёте парад победы в Ма-

хачкале или в Назрани. После этого вам гарантирована победа на выборах, — звёзды на плечах министра замерли: он ждал ответа на своё системное предложение.

— Вы хотите, чтобы установки залпового огня разрушили и Махачкалу? — со злой иронией произнёс Чегоданов, — Хотите, чтобы все ваххабиты мира примчались на Кавказ из Сирии, Ливии и Ирака? Вы хотите, чтобы Аль-Каида обустроила базы на вещевых рынках Москвы? Занимайтесь лучше охраной общественного порядка во время митингов и демонстраций.

Министр уязвленно молчал, и звёзды на его плечах обиженно хмурились.

— Фёдор Фёдорович, гарантирую, мы проведём выборы на самом высоком уровне. Восемьдесят процентов поддержки я вам гарантирую! Разве когда-нибудь система ГАС “Выборы” нас подводила? Если восемьдесят процентов кажутся вам недостаточными, добьёмся девяноста двух, — председатель Центризбиркома Погребец невозмутимо смотрел чистыми глазами, проводя белой ладонью по стальной бороде.

— Сергей Артамонович, да будет вам известно, в “оранжевых революциях” тема нечестных выборов занимает главное место. Если вы перестараетесь с вашими процентами, то на улицы выйдет вся Москва. Реальные рейтинги не должны распыляться и тонуть в дутых цифрах. Нужно повысить мою популярность до уровня, при котором ваши результаты выборов будут приняты обществом. Я хочу получить от вас, коллеги, предложения, каким образом переломить негативную тенденцию и выиграть выборы, — Чегоданов сложил губы трубочкой, отчего вместо рта образовался сердитый хоботок, и слова излетали с характерным злым шелестом. — Мне нужны творческие идеи. Мы должны выявить изъяны в наших действиях.

Молчавший всё это время личный охранник Божок мерцал синими глазами, которые то смеялись, то превращались в злые красные угольки.

— А я вам скажу, Фёдор Фёдорович, отчего ваша кривая ползёт вниз, можно сказать, падает на бок. Вот вы пригласили обратно Бекетова, доверились ему, дали ему полномочия. Я не стал вас отговаривать, хотя Андрей Алексеевич — человек сложный, ох, сложный! Ведь вы недаром его от себя удалили, мы оба знаем — было за что. А вот теперь взяли обратно. Так вот, мои люди сообщают, что Андрей Алексеевич работает на Градобоева. Тайно встречается с ним, передаёт информацию, даёт ему идеи. Он, по поручению Градобоева, привёл на митинг и Мумакина, и Лангустова, и этого русофоба Шахеса. Вы ему доверяете, раскрываете карты, а он бежит к врагу и выдаёт секреты. Вот кому нужно сделать больно, и кривая сразу полезет вверх. С “кротами” как обращаются? Шкурки снимают. С предателей надо шкурки снимать, — Божок, смеясь синими глазками, показал, как вскрывают пойманному зверьку брюхо и сдирают мягкую шкурку.

президент Стоцкий отстранённо, с рассеянной улыбкой, внимал разговорам. Неожиданно встрепенулся в кресле, несколько раз взмахнул маленькой точёной ручкой, прежде чем заговорил.

— Предательство благодетеля — неотмолимый грех! У Данте в центре ада сидит Вельзевул и страшными гнилыми зубами грызёт предателя! Предателя надо расстреливать, топить, вешать, как собаку. Бекетов предал Фёдора Фёдоровича в самый трудный момент и сбежал. Ты, Фёдор, опрометчиво его вернул. Доверился ему в этот сложный момент, зная, что он предатель. Среди близких тебе людей нет предателей. Мы верны тебе, готовы жертвовать во имя тебя. Я поклялся тебе в верности и держу клятву. Если бы ты знал, сколько мерзавцев в эти годы, что я президент, подбивали меня стать предателям. Говорили: “Одна твоя подпись, и Чегоданов уходит в отставку, и больше никогда, никогда не встанет на твоём пути!” Я их всех отвергал с презрением. Для меня наша дружба священна. Я служил и служу тебе. Если в тебя станут стрелять, я заслоню тебя своей грудью! — Стоцкий сбивался, размахивал точёными ручками. Чегоданов пристально смотрел на него, и казалось, взвешивал на невидимых весах эти признания верности.

— Я бы хотел узнать, сколько людей приходило к Градобоеву на митинг. А также, какой у меня рейтинг на сегодняшний день.

Глава администрации кинулся к телефону и что-то негромко спросил. Повернулся к Чегоданову:

— На Болотной площади было 50 тысяч, а на проспекте Сахарова — 120 тысяч.

Все охнули, Купатов схватился за лысую голову. Министр внутренних дел мучительно сжал кулаки. Божок мерцал красными угольками.

— А рейтинг, рейтинг? — спросил в нетерпении Чегоданов.

— Ваш рейтинг, Федор Федорович, поднялся с тридцати шести до сорока одного процента.

Все изумлённо молчали.

— Так что видите, коллеги, кривая моей популярности стала расти, — засмеялся Чегоданов. — Ещё далеко до победы, но прогресс налицо. Так что “кроту” не надо делать больно. Не надо сдирать с него шкуру!

Чегоданов поднялся и, оставляя членов штаба в недоумении, удалился в комнату отдыха, увлекая за собой Клару.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Градобоев просматривал прокремлёвские сайты, которые демонизировали его, выуживая из его многочисленных интервью и высказываний порочащие признаки. Его обвиняли в подготовке государственного переворота и призывах убить президента. Подозревали в связях с чеченскими террористами, с которыми он якобы встречался на конспиративной квартире. Вскрывали финансовые поступления, которые шли через неправительственные организации. Намекали на еврейское происхождение. Приводились свидетельства проституток, которые рассказывали о его мужских немоцах.

Сайтов было множество, они слипались в клейкую массу. Их содержание травмировало Градобоева, и он находил утешение, читая другие, либеральные сайты, где его превозносили и прочили в президенты России.

Его отвлёл охранник Хуторянин. Он вошёл бесшумно, с манерами осторожного разведчика, которым он и был, работая прежде в органах безопасности.

— Иван Александрович, к вам редактор “Честной газеты” Луцкер. Без предварительного звонка. Утверждает, что срочное дело. Прикажете отказать? Или направить к пресс-секретарю? — Хуторянин бегал глазами по кабинету, словно ощупывал воздух вокруг Градобоева, убеждаясь, что в воздухе отсутствует опасность.

— Пригласите, — Градобоева заинтересовало неурочное явление Луцкера. — Семён Семёнович, не волнуйтесь. Проверено, мин нет, — усмехнулся он, цenia преданную бдительность телохранителя.

Луцкер шумно вошёл, рыхлый, неопрятный, похожий на перезрелый гриб, пропитанный водой, изъеденный лесными улитками. Он пугливо оглянулся, отыскивая по углам скрытые камеры и подслушивающие устройства. Приблизил шевелящиеся губы к уху Градобоева и страстно зашептал:

— Это ваш шанс! Немедленно! Мне было не просто! Кругом глаза и уши! Переломный момент в политическом процессе! Я очень рискую!

— Да что случилось? — Градобоев отстранился от Луцкера, спасаясь от волны кислых испарений.

— Валентин Лаврентьевич приглашает! Прямо сейчас! В нужном месте!

— Да кто такой Валентин Лаврентьевич? — не понимал Градобоев.

— Да Боже ж мой! Да Стоцкий Валентин Лаврентьевич, президент!

— Хочет видеть меня?

— Да, да, да! И немедленно! Собирайтесь! Это громадный шанс для всех нас!

Вошёл Хуторянин:

— Всё в порядке, Иван Александрович?

— Я уезжаю, вы со мной, — Градобоев стал одеваться.

Уселся в машину Луцкера, усадив рядом с собой Хуторянина.

— Да зачем вы берёте охрану? — всполошился Луцкер. — Да, Боже ж мой, вас не похищают.

— Со мной всегда находится преданный мне офицер, — ответил Градобоев, поймав благодарный взгляд телохранителя.

В вечерней метели они проплыли в вязком месиве Садового кольца. Скользнули в железные ворота ампириного особняка и оказались в тесном дворе. Здесь их поджидала другая машина, у которой стояли два рослых охранника, одинаково строгих и статных.

— Прощу вас, — произнёс один, открывая перед Градобоевым дверцу.

— Вам лучше остаться, — сказал второй, оттесняя Луцкера и Хуторянина.

— Я не поеду без моего человека, — сказал Градобоев.

Луцкер обиженно отошёл. Машина, где на заднем сидении поместились Градобоев и Хуторянин, мягко покинула двор через другие ворота. Погрузились в вязкий поток, в котором тёрлись друг о друга лакированные автомобили, гневно вспыхивали фары, сыпал мокрый московский снег. Они долго выбирались из этого ртутного варева, пересекли огненную Кольцевую дорогу и понеслись по Дмитровскому шоссе, включив сирену. Градобоев чувствовал этот маршрут, как таинственную линию своей судьбы, совершающей ещё один причудливый поворот.

Съехали с шоссе на лесную дорогу, миновали шлагбаум с будкой. В глубине соснового бора открылся особняк с оранжевыми горящими окнами. Градобоев оказался в тёплой прихожей с коврами и большой китайской вазой с драконами. Градобоеву помогли раздеться. Хуторянин остался в прихожей, а Градобоева провели по коврам в гостиную. Мягко золотились деревянные стены, горел камин, был накрыт стол на две персоны, мерцала под потолком уютная лампа из разноцветных стёкол. Градобоев не успел оглядеться, не успел протянуть к камину руки, как в гостиную быстро вошёл президент Стоцкий.

— Признателен, Иван Александрович, за то, что откликнулись на моё приглашение. Подарили мне время, которое вы бы могли использовать в своей яркой политической деятельности, — они пожали друг другу руки, и Градобоева поразило нервное, цепкое пожатие маленьких острых пальцев. В лице Стоцкого присутствовало одновременно два выражения, наложенных одно на другое: высокомерное достоинство повелителя и заискивающая неуверенность, детская застенчивость, боязнь упрёка. И эта двойственность мешала Градобоеву, внушала опасение. — Давайте поужинаем, Иван Александрович. А заодно дружески поболтаем.

Официант в белом сюртуке с золотыми позументами приносил блюда. Предлагал вина, водку, виски. Стоцкий и Градобоев согласились пить белое шамбли. Стоцкий перехватил у официанта бутылку, наклонил над бокалом Градобоева:

— Вы знаете, когда король Швеции принимал меня в своей резиденции, он собственноручно наливал мне вино, ухаживал за мной. Это было очень мило, как-то по-домашнему, — золотое вино лилось в бокал. — А вот на ранчо президента Буша мы вообще не пили вина. Как известно, Буш-младший когда-то страдал от запоев, и этикет этих камерных приёмов исключал спиртное. Один из сенаторов как-то зло пошутил, что лицо Буша напоминает этикетку от виски. — Стоцкий наполнил бокал Градобоева, уронив на скатерть несколько капель, и принялся наполнять свой бокал. — Зато президент Обама, принимая меня в Кэмп-Дэвиде, решил сделать мне приятное: выпил рюмку русской водки, закусив солёным огурцом. — Стоцкий засмеялся, поднял бокал:

— За нашу встречу, Иван Александрович.

Градобоев чокнулся, сдержанно улыбаясь. Стоцкий вовлекал его в непринуждённую беседу, при этом упоминая сильных мира сего, давал понять Градобоеву, какая честь ему оказана, какая дистанция между ними.

— Наивны эти русологи или, как раньше их называли, советологи. Только что у меня была встреча с членами клуба “Валдай”. Эти господа из Германии, Америки и Франции высказывали своё видение российской политики, её конфликтов и тенденций. Всё, казалось бы, правильно. Но они не понимают, что в центре российской политики лежит не военный, не политический фактор, а психологический. Психологические отношения нескольких

лиц, некоторые из которых вообще не известны политологам. Как раньше, так и теперь, Кремль полон византийских интриг. Отношения двух людей могут перевернуть вверх ногами всю политику. Например, наши с вами отношения.

Появлялся официант с золотыми галунами, меняя блюда. Был великолепен средиземноморский салат с осьминогами. Французский луковый суп с гренками был изысканно пикантен. Телячьи медальоны под сладким соусом таяли во рту. Градобоев чутко вслушивался в интонации Стоцкого, то исполненные превосходства, то дружеские и шуточные, словно оба они были добрыми друзьями. Градобоеву льстила эта неожиданная встреча, говорившая о том, как выросла его политическая роль, какой вес он приобрёл своими митингами, блогами, манифестами и разоблачениями. Но он не позволял себе упиваться честолюбивыми переживаниями. Слушал, как, позванивая, раскручивается пружинка их разговора.

— Должен сделать вам комплимент, Иван Александрович. Вы на редкость искусный политик. Некоторые ваши пассажи вызывают восхищение. Вы политик нового типа, каких не знала Россия. Вы политик эры интернета, и вам удаётся сломить тупую мощь государственных телеканалов. Ваше виртуозное скольжение среди информационных бурь подобно виндсёрфингу. Ваши разоблачения, ваши обличительные воззвания, ваши огненные призы-вы войдут в хрестоматию современной политики. — Стоцкий важно поощрял Градобоева, одобрительно кивал, как ценитель, наблюдающий фигурное катание, знающий толк в рискованных фуэте. И это слегка раздражало и забавляло Градобоева. Ибо сам Стоцкий был политик “византийского толка” и получил свою власть благодаря мучительной закулисной интриге. — Но когда-нибудь время площадей и интернетных флэш-мобов для вас закончится, и наступит период традиционной политики. А в ней совсем иные законы, нежели на площади. И среди этих тихих политических омутов и невидимых волчьих ям вам бы пригодился поводырь и советчик. — Стоцкий лукаво улыбнулся, и его влажные фиолетовые глаза посмотрели на Градобоева с нежностью.

— Я чувствую недостаток политической практики, — потушился Градобоев, чтобы Стоцкий не уловил промелькнувшую в его глазах искру смеха. — Я часто ошибаюсь в людях, в выборе союзников.

— Не скромничайте. Вы обаятельны, у вас поразительный дар убеждать. Вы сумели привлечь на свою сторону таких мнительных эгоцентриков, как Мумакин, Лангустов, Шахес. Кстати, уморительно было видеть, как Лангустов на последнем митинге танцует балет, а Шахес выступает с синагогальной проповедью. Все тривиальны, только вы непредсказуемы, искренни, искромётны! — Он льстил Градобоеву, и тому казалось, что эта лесть чрезмерна: не привлекает, а отпугивает. — Если бы вы знали, господин Градобоев, как вас ненавидит Чегоданов! Как он вас боится! — неожиданно воскликнул Стоцкий. Его щёки задрожали, покрылись алыми пятнами, вилка упала на пол. — Вы для Чегоданова смертельный враг! — Официант бесшумно поднял вилку. Положил на скатерть чистую. Стоцкий сжал маленькие кулачки, его фиолетовые воловьи глаза трепетали ненавистью.

Градобоев был ошеломлён: перед ним раскрыл свои эмоции хитроумный властитель, искушённый в интригах власти, повелевающий армией, тайной полицией, агентами. Он откровенничал с ним, нуждался в нём, мог без него обойтись! От этого жар бросался в лицо. Он нёсся с ледяной горой среди свистящего ветра и солнца, вписываясь в безумный поворот. Сердце замирало от счастья и ужаса. Судьба обретала скорость, способную протолкнуть его сквозь все препятствия. Одолеть угрюмую гравитацию. Вознести к заветной цели, мистической мечте. К недостижимой власти, которая однажды опьянила его и с тех пор была путеводной звездой, волшебным бриллиантом. Тогда, в детстве, стоя босиком на крыльце, он увидел драгоценную росинку, которая своей красотой, сказочными переливами вызвала в нём восхищение, а потом, погаснув, — смертельную тоску и печаль. С тех пор всю жизнь он искал эту волшебную каплю, отравившую его своими небесными переливами. И теперь Градобоеву казалось, что этот бриллиант вот-вот

вспыхнет в бокале вина, среди горящих в камине поленьев, в тёмных, трепещущих безумной страстью глазах президента.

— Как я могу вам помочь?

— Приближаются выборы! Вам на них не победить. Готовится безумная фальсификация! Печатаются фальшивые бюллетени, сбрасываются директивы губернаторам, все спецслужбы, вся пресса, все банкиры и бизнесмены нацелены на победу Чегоданова! Система ГАС “Выборы” — этот электронный напёрсточник — обеспечит победу Чегоданова и ваш проигрыш. Вы должны принять результат или отвергнуть его. Объявить итоги чудовищной подделкой! Вывести на улицы миллион граждан! И тогда я, предположим, — пока только предположим! — отменю итоги выборов. Назначу новые. По закону в этих новых выборах не сможете участвовать ни Чегоданов, ни вы. Я снова выдвигаюсь в президенты. Вы поддержите меня. Став президентом, я делаю вас премьер-министром! Это огромное для вас достижение. На этом посту вы пройдёте политическую школу, возмужаете, вас узнает мировое сообщество. И на следующих выборах у вас не будет конкурентов! Вы — президент!

Всё это Стоцкий выпалил страстно, захлёбываясь. Его щёки дрожали, из глаз выплёлскавался фиолетовый огонь, какой бывает у глубоководных существ, внезапно всплывших на поверхность. Градобоев пугался этой откровенности, которая была для него смертельно опасна. Пугался заговора, куда вовлекали его, как в воронку. Но сквозь фиолетовое свечение в тёмной глубине водоворота мерещилась ему драгоценная бриллиантовая звезда.

Градобоева страшило открывшееся пространство, где господствовали грозные силы, к которым он не прикасался доселе. Это был не интернет с ментальным возгоранием тысяч воспалённых умов, которые гасли столь же быстро, как и зажигались. Это были не митинги с эффектными речами и воздушными шарами над ликующей толпой. Не пресс-конференции и интервью. Не тайное получение денег от анонимных жертвователей. Не мелкие происки спецслужб, взламывающих его сайты и устраивающих слежку. Это были тектонические силы, сотрясавшие век от века континент России, перемещавшие глыбы русской истории, под которыми хлопала кровь и трещали кости. И ему, Градобоеву, предстояло шагнуть на эти плиты, ощутить стопами их страшное трясение, омыться кровью, оглохнуть от хруста костей. Такова была природа русской власти, воля, которая приближала его к этой власти.

— Ваше предложение застало меня врасплох. Я должен подумать.

— Вам нечего думать! Вы станете премьером, и мы проведём реформу, делающую премьера главным человеком в стране, а президента отодвинем на задний план! Мне не нужна абсолютная власть! Решайтесь, я вам помогу. Решайтесь!

Градобоев испытал подобие сладкого обморока. В душе взорвалась ослепительная вспышка счастья, и вся его воля, разум, представления о зле и добре расплылись в этой упоительной вспышке.

— Я должен подумать, — произнёс он слабо, как если бы возвращался в явь после наркотического сна.

Официант принёс вазу с фруктами. Круглились румяные яблоки. Свисали зелёно-золотые и синие грозди винограда. Краснела спелая клубника. Торчали перья над чешуйчатым ананасом.

Пили вино, вкушали фрукты. Стоцкий был бледен. Казался опустошённым. Он не получил от Градобоева желанного ответа, и эта неопределённость сneiderа его. Он медленно потянулся к яблоку, перенося его из вазы на тарелку. Взял нож, намереваясь очистить плод. Внезапно ударил ножом в яблоко. Раз, другой. Яростно воскликнул:

— Ненавижу! Одни унижения! — он наносил по яблоку удары, прокалывал, рассекал.

Градобоев проделал обратный путь от коттеджа в сосновом бору до туманной вечерней Москвы, — чавкающей, жующей мгlistые огни, бетонные фасады, лакированные машины. У аспирного особняка он пересел в свою машину, которая понесла его в штаб.

— Спасибо за верную службу, Семён Семёнович, — сказал Градобоев Хуторянину, выходя из машины. Тот преданно, благодарно кивнул.

Градобоев вернулся к компьютеру, который забыл выключить. Стал снова процеживать прокремлёвские сайты, где его обвиняли в коррупции, в сожительстве с актрисами Художественного театра.

Тем временем в укромном переулке у Песчаных улиц съехались две машины. В одной сидел телохранитель Чегоданова Божок. Из другой в первую пересел телохранитель Градобоева Хуторянин. Передал Божку крохотный диктофон.

— Здесь всё, о чём они говорили. Чёткая запись, — сказал Хуторянин.

— Спасибо, — сказал Божок, пряча диктофон на груди.

— А помнишь, Петя, как под Первомайской ты меня по снегу тащил?

— Такое, Сёма, забыть невозможно.

— Ну, бывай.

Две машины разлетелись, исчезая среди снега, рокота, туманных огней.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Градобоев держал в руках свежий номер “Нью-Йорк таймс”, наслаждаясь особым шелестом просторных страниц, неповторимым запахом, который исходил от серебряно-чёрных полос. Так пахла заморская цивилизация Америки с её небоскрёбами, подводными лодками, причёсками рыжих плясуньи, танцующих в мюзикле на Бродвее.

В газете была помещена статья московского корреспондента Джеффри Стикса, где тот рассказывал и о ходе президентской гонки и о возможном победителе на выборах Градобоеве. Преподносился образ сильного прогрессивного человека, русского патриота, приверженца европейских ценностей, умеренного критика американской политики, который, тем не менее, признаёт главенство Америки в однополярном мире. Статья включала в себя несколько психоаналитических характеристик, таких, как тайное влечение к католическим символам и глубинное соотнесение себя с символами Древнего Вавилона. Эти пикантные домыслы Джеффри Стикс почерпнул из жёлтых газет, которым Градобоев давал интервью, дурачась и фантазируя.

Статья была стратегически важной для Градобоева, делала его фигурой международного уровня, придавала мировую известность. Это была аттестация, пропускавшая его на следующий этаж политической карьеры, говорившая о поддержке его персоны со стороны влиятельных американских кругов.

Градобоев ещё и ещё раз перечитывал статью, торжествовал, подносил к лицу шелестящие страницы. Вдыхал горьковатый запах миндаля, легированной стали и женских волос — запах заморской цивилизации, приславшей ему свою весть.

На столе лежал белоснежный конверт с золотым американским орлом. В конверте находилось сообщение, в котором посол Соединенных Штатов в Москве Марк Кромли имеет честь пригласить господина Градобоева отобедать в резиденции посла в Спасхаусе.

Особняк посла, жёлто-белый, с голубоватыми тенями, среди ослепительного солнца и снега казался барской усадьбой, во дворе которой вот-вот загремят бубенцы, и покажется тройка, запряжённая в санный возок. Золотая солома, аляповатые цветы на возке, пар из лошадиных ноздрей, и на крыльце появляется барин в тяжёлой собольей шубе. Так мимолётно подумал Градобоев, проходя мимо морского пехотинца с фиолетовым толстогубым лицом. Тот оглядел его отчуждённо и холодно, блеснув из-под берета огромными белками.

В прихожей его встретил сухощавый господин с рыжеватой бородкой и зелёными рысьими глазами.

— Майкл Грэм, второй секретарь посольства, — представился он, остро вонзая в Градобоева свой пронзительный взгляд, словно просвечивал его рыжими окулярами приборов. Градобоев с неприязнью подумал, что где-то в соседней комнате на экране отобразился его скелет. — Прошу вас, господин посол сейчас выйдет, — и провёл Градобоева в комнату, где был накрыт стол, и сквозь шторы лился чудесный свет серебряного зимнего солнца.

Посол Марк Кромли появился внезапно, словно вкатился в комнату, — маленький, круглый, лысенький, с пухлыми щёчками, с остатками белесых волос, сквозь которые просвечивал розовый веснушчатый череп. Радостно улыбаясь Градобоеву, он сунул ему маленькую руку с полной ладошкой, которую позволял мять, не отвечая на рукопожатие.

— “Мороз и солнце; день чудесный! // Ещё ты дремлешь, друг прелестный — // Пора, красавица, проснись!..” — он взмахнул рукой, приглашая любоваться солнечным сиянием за окнами. Перенёс этот восторженный взмах в направлении стола с белой скатертью, сверкающим стеклом и фарфором. — Прошу, господин Градобоев. Спасибо, что откликнулись на моё приглашение.

Его русский язык был безукоризнен, чувствовалось лишь лёгкое напряжение в произнесении некоторых слов и радость от того, что это произнесение удавалось.

Они уселись за стол, Градобоев и посол визави, а Майкл Грэм рядом с послом, чуть в стороне.

— “Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; // Его лошадка, снег почуя, плетётся рысью как-нибудь...” — посол продолжал шеголять знанием русской поэзии. Гостеприимно улыбался. Очаровывал Градобоева непринуждённой манерой, весёлостью, любовью к Пушкину, к России, к зимнему московскому солнцу. Градобоев очаровывался, кивал головой, восхищаясь послом-русифилом. Вдруг почувствовал, что в глубине этого пухлого тела, среди обворожительных улыбок и смеющихся глаз, притаилась крохотная дробинка, чудовищно твёрдая и тяжёлая, несущая в себе сокрушительную силу удара. Это открытие заставило его содрогнуться, и он поспешил унять невольную дрожь. Видел, как исследуют его рыжие глаза Майкла Грэма, улавливая малейшие колебания его чувств.

— Вы прекрасно знаете русскую поэзию, — произнёс Градобоев комплиментарно. — Я слышал, у вас есть работа по русскому “серебряному веку”. Россия для вас — не чужая страна, — произнёс он и спохватился: как бы исследующий его Майкл Грэм не усмотрел в его словах тонкой язвительности, скрытого антиамериканизма, неприязни к послу, орудующему в России, как у себя дома.

— Прошлым летом я совершил путешествие по северным русским озёрам. Я, наконец, увидел Кижи. Незабываемое впечатление! Как будто на острове стоят ракеты и вот-вот взмоют в небо.

— Кое-кто из наших либеральных политиков хотел бы, чтобы у России остались только деревянные ракеты.

— Да, но ведь, кажется, это вы утверждали, что если бы Россия отказалась от своих ядерных ракет, то отношения между нашими странами резко улучшились бы? Как будто вы говорили об этом в своём интервью?

— Нет, — ответил Градобоев, — Я излагал точку зрения некоторых наших либералов, и я эту точку зрения не разделяю.

— Согласен с вами. Россия слишком большая страна, и она должна сама себя защищать, не полагаясь на чужие ракеты. Великие народы должны себя защищать.

Градобоев был доволен собой. Он не перечил послу, но и не подыгрывал ему. Оставался патриотом, самостоятельным политиком, не скрывая своих суждений. Но обнаруживал того униженного низкопоклонства, которыми грешили некоторые мелкотравчатые либералы.

Они обедали. Служитель бесшумно менял тарелки, подливал в бокалы вино. Майкл Грэм молча слушал, наводя на Градобоева свои рыже-зелёные глаза, и тому казалось, что его голову поместили в невидимый томограф, нарезают тонкие пластины мозга и процеживают, просматривают, исследуя все оттенки мыслей.

— А как вы считаете, что заставляет людей выходить на улицы? Ведь это, кажется, вполне обеспеченные люди. Работают в банках, корпорациях. Их нельзя назвать обездоленными, — посол отправлял в рот ломтик бифштекса, самозабвенно его пережёвывая. Казалось, что заданный вопрос интересует его меньше, чем вкус мяса.

— Не хлебом единым жив человек, — ответил Градобоев. — В России выросло поколение, для которого чувство собственного достоинства важнее, чем материальный достаток.

— Да? — посол сделал вид, что изумлён услышанным. Выпил вино, покачивая головой, одобряя то ли ответ, то ли вкус мяса.

Градобоев рассматривал вставные зубы посла, жующие мясо, рыжеватые пигментные пятна на черепе, маленький приплюснутый нос с торчащими волосками. И думал, что за этим добродушным толстячком таятся гигантские силы, управляющие миром с помощью авианосцев, банков и тайных знаний, которые закабалили мир, держат его в наркотическом обмороке. А если мир вдруг начинает просыпаться от ядовитых снотворных, то его посыпают умными бомбами, дырявят сверхточным оружием.

— Вы приобрели популярность своими разоблачениями коррумпированных чиновников, — произнёс посол, поддевая зелёный листик салата. — Каких скандалов следует ожидать накануне выборов?

Посол хрустел сочным листиком, и можно было подумать, что вопрос задан случайно, чтобы только поддержать разговор, и питательный листик важнее ему любых коррупционных скандалов.

— Большие хищения обнаружены в министерстве обороны. Миллиарды рублей. Когда это всплывёт наружу, министр обороны может уйти в отставку.

— В самом деле? — посол перестал жевать, — Но ведь министр обороны — это человек господина Чегоданова. Не ослабит ли этим господин Чегоданов свою команду накануне выборов?

— Министр обороны ушёл от Чегоданова под крыло президента Стоцкого. Вместе они закупили для российского флота французский вертолётоносец, получив при этом большие личные выгоды. Отставка министра обороны произойдёт сразу после президентских выборов, если, конечно, на них победит Чегоданов.

Посол глубокомысленно возвёл к потолку глаза и дожевывал листик салата.

Градобоев вдруг подумал, что за этот листик салата он передал послу конфиденциальную информацию, которая может повредить государству. И тут же оправдал себя тем, что государство давно уже находится в плену у этого благодушного толстячка, управляется им через бесчисленные организации и фонды, денежные гранты и транши, зависимых министров и депутатов. Разгромленное и поверженное, государство выплачивает победителю репарации, которые не оставляют народу средств к существованию. Гибнет и разрушается. Он, Градобоев, мечтая спасти государство, вынужден обращаться за помощью к врагу. Ищет его одобрения и поддержки, завоевывает доверие, усыпляет бдительность. Обманывает рыжие глаза Майкла Грэма, который угадывает сейчас его смятение и готов уличить в неискренности.

— Самое опасное для страны — когда происходит раскол элит, — важно заметил посол. — Тогда может начаться смута. В русской истории смута случалась, когда элиты раскалывались. Бояре и царь Иван Грозный. Последний Император и Государственная Дума. Большевики и Временное правительство. Горбачёв и Ельцин. Я знаю, что отношения между господином Чегодановым и господином Стоцким далеко не идеальны. Здесь таится возможность очередной русской смуты, — посол отложил приборы, отодвинул бокал с вином и прямо, жёстко, с холодным спокойствием посмотрел на Градобоева. — Выборы, в которых вы участвуете, могут спровоцировать очередную русскую смуту. У вас в руках “золотая акция”, и то, как вы ею распорядитесь, может решить судьбу России.

Градобоев ощутил слабое сжатие сердца, которое на секунду остановилось. И в этом перебое сердца открылась упоительная, отталкивающая и неудержимо влекущая истина. Та, ради которой он явился на свет, возрастал, проходил искушения, обретал уникальные знания, отдавал себя на волю судьбы, сам выстраивал свою жизнь жёстко и твёрдо. Продвигался к заветной мечте, к прекрасной звезде, именуемой властью. Эта звезда, ослепив его однажды волшебной росинкой, стала звездой путеводной. И теперь, глядя в жестокие, как у кобры, глаза посла, он понимал, что эта звезда вдруг страшно приблизилась. Он влетает в её опаляющий огонь и неизбежно по-

гибнет. И нужно сейчас подняться, кинуть на пол салфетку и мимо негра в берете выбежать на ослепительный снег. Умчаться прочь из Москвы, чтобы скрылись его следы среди необъятных русских снегов, ледяных рек, хмурых боров. Чтобы все забыли о нём, не вспоминали во веки веков, и он сбережёт свою жизнь для любимой женщины, осмысленных тихих трудов, как миллионы других людей. Градобоев сидел, глядя в ледяные глаза посла, сердце громко билось, и не было пути к отступлению. Пламенная звезда приближалась.

— Мы не заинтересованы в русской смуте. Не заинтересованы в распаде России. Мы не заинтересованы в хаосе на шестой части планеты, где стоят атомные станции, ядерные ракеты, изношенные гидросооружения и вредные химические производства. Мы заинтересованы в гармоническом переходе власти от Чегоданова к следующему президенту. Не исключаю, что им можете стать вы. Мы будем вам помогать, — посол Марк Кромли говорил так, словно давал директивы, подлежащие немедленному исполнению. Исполнителем был он, Градобоев, и роль подчинённого исполнителя не тяготила его. Он готов был её принять, чтобы достичь своей высшей цели, — коснуться рукой звезды. А потом, уповая на свой виртуозный разум, на благу судьбу, на таинственные законы русской истории и русской власти, он избавится от изнурительной зависимости, станет суверенным русским президентом.

Второй секретарь посольства Майкл Грэм вглядывался в его лицо. Вскрывал его тайные помыслы, уличал в лукавстве. Градобоев гасил свои тайные замыслы, укутывал их в сумбурные эмоции благодарности и почтения, надеясь обмануть соглядатая.

— Америка не была заинтересована в распаде Советского Союза, — твёрдо и директивно продолжал посол. — Мы лишь хотели, чтобы Советский Союз перестал быть врагом Америки. Горбачёв не сумел справиться с нарастающей русской смутой. Мы готовы помогать вам в той мере, в какой вы станете препятствовать русской смутой. Если вы станете президентом, вы должны взывать к переменам, но к переменам неразрушительным. “Как колокол на башне вечевой // Во дни торжеств и бед народных ...” — эти последние слова посол произнёс весело и взволнованно, бравидуя своим знанием Пушкина. Он снова был добродушным хозяином, милым толстяком, который располагал к дружельюбной беседе. — Майкл Грэм будет иногда встречаться с вами, и вы станете обмениваться с ним своими мнениями. Как друзья. — С этими словами Марк Кромли стал подниматься, протянул Градобоеву свою мягкую безвольную ручку, и Градобоев помял её в своих сильных пальцах.

Майкл Грэм помогал Градобоеву одеться.

— Мне хочется сделать вам подарок, Иван Александрович. В одном своём интервью вы сказали, что любите бифштекс из вавилонского зверя. Пусть эта книга заменит вам книгу о вкусной и здоровой пище. — Майкл Грэм протянул Градобоеву великолепно изданный альбом с английской надписью “Вавилон”. На обложке был изображён загадочный древний дракон. Голова — змеи, передние ноги — льва, задние ноги — птицы, покрыт рыбьей чешуей и звериной гривой. Градобоев, с благодарностью принимая подарок, подумал, что это животное и есть образ Америки. Тотемный зверь господина посла. И тут же, чтобы обмануть ясновидящего Майкла Грэма, произнёс:

— Как хорошо, Майкл, что гербами наших стран являются орлы, а не эти зверюшеры!

Градобоев вернулся в свою резиденцию, возбуждённый, ликующий. Выходя из машины, успел вдохнуть морозный солнечный воздух. Увидел вдалеке переулочек набережную Москва-реки с льющимся блеском машин и памятник, похожий на вавилонского зверя.

Елена встретила его, предлагая рассмотреть список газет и сайтов, желающих получить у него интервью.

— Подожди, — остановил её Градобоев. — Знаешь, чем я отличаюсь от Георгия Победоносца? Святой Георгий вёл бой с обыкновенным змием, знал его повадки и уязвимые места. Я же веду бой с Вавилонским зверем. Он и змея, и лев, и орёл, и рыба, и конь, и единорог. И все они против меня.

И Чегоданов, и Стоцкий, и Мумакин, и Шахес, и посол Марк Кромли. И я их всех одолею! — его переполняла страсть, жаркая сила, не позволявшая обратиться к рутинным делам. Он искал выход этой жгучей нестерпимой страсти. Обнял Елену, притянул к себе, погружая губы в душистые волосы, проникая ладонью под её блузку. Она отшатнулась. Вырвалась из объятий.

— Не надо... Не сейчас... Мне нездоровится...

В глазах её Градобоев увидел промелькнувшее тёмное негодование, отвержение, и это уязвило его.

— Хорошо, — сказал он холодно. — Показывай, кто там ещё меня домогается.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

...Бекетов пристально вematривался в коллекцию отцовских трофеев, улавливал таинственное, исходящее от них излучение.

Это излучение исходило от деревянных, стеклянных и металлических предметов из таинственного мира, куда удалился отец. Это излучение было посланием отца к сыну. Было бестелесной субстанцией, позволявшей приблизиться к отцу, слиться с ним, вернуть на землю. Бекетов неотрывно смотрел на отцовские амулеты, боролся с отцовской смертью, совершая акт воскрешения.

Загудел домофон.

— Это я, — услышал Бекетов голос Елены. — Проезжала мимо. Не удержалась. Можно войти?

Елена отдала ему шубку. Он вдохнул запах меха, в котором ещё удерживался студёный воздух, быстро таяли седые снежинки. Елена прошла в комнаты, зорко, счастливо оглядываясь. Убеждалась в незыблемости знакомых предметов, в сохранности старинного, с зелёным сукном стола, тяжёлого, чёрно-малинового ковра на стене, потолка с лепниной, под которым висел драгоценный, из разноцветных стёкол, фонарь. Глянула в окно, за которым мерцал и вздрагивал город, словно море ударяло в гранитный берег.

— Всё, как прежде. Но не хватает женской руки, — засмеялась она, касаясь пальцами запылённых разбросанных книг, забытых повсюду чашек с недопитым чаем. — У Градобоева состоялось несколько важных встреч. Но с кем, я не знаю. Он держит это в секрете. Мне кажется, что он не доверяет мне. Чувствует мой обман.

— В политике все друг друга обманывают, — тускло сказал Бекетов.

— И ты меня обманываешь?

— Я тебя не обманываю.

Взгляд его серых глаз был печальным и отрешённым, словно он видел не её, а нечто другое, туманное, недоступное.

— Так тревожно, так беспокойно, — сказала она, опечаленная. — Кругом что-то копится, тёмное, безымянное, страшное. Оно не имеет названия, но вселяет в людей ненависть, страх, помешательство. Кругом убийства, моры, жестокость. Как будто чудовище вселилось в народ. Что будет? Война? Революция? Опять брат на брата? Опять библиотеки горят, расстреливают в подворотнях? Опять Россия в крови, в надрыве? Градобоев рыцарь, подвижник. Но когда он говорит толпе, толпа превращается в чудовище, в вавилонского зверя, который растерзает город. Мне страшно.

— Градобоев — дрессировщик, который злит и умирляет толпу. Дрессировщик вавилонского зверя.

— Хочешь, бросим всё и уедем? Прочь от этих митингов, тайных и явных угроз. Прочь от шпионов, клеветников и завистников. Скроемся от глаз, которые постоянно выслеживают, подглядывают, желают зла. Мы пережили с тобой разлуку, судьба опять нас свела. Нам никто не нужен. Уедем куда-нибудь в тихий городок, в уютный домик с садиком и цветами. К людям, которые улыбаются при встрече. Скроемся от этой роковой тьмы, которая опять подступила и вот-вот всех накроет.

— Ты же знаешь, что я не могу уехать. Действую, чтобы тьма не накрыла Россию. Хочу успеть завершить своё дело до наступления тьмы. Я должен выиграть у истории ещё шесть лет, удерживать тьму, и тогда Россия спасётся.

— Почему шесть лет?

— Есть предсказание. Через шесть лет появится спаситель России. Он ещё не явлен, но уже среди нас. Через шесть лет он чудесным образом себя обнаружит.

— Откуда ты знаешь?

— Предсказание. Будет явлен в городе двух цариц, где кривые улочки, слепые оконца, часозвоня с курантами, вороньи гнёзда в старинном парке, и старый монах-предсказатель.

— Градобоев — не спаситель России?

— Быть может, он предтеча. Идёт впереди спасителя...

Женщина, которую он обманывал, смотрела на него любящими глазами.

— Я всегда тебе удивлялась и тобой восхищалась. Кругом была непроглядная тьма, а ты разрезал её лучом света. Кругом было безнадёжное поражение, а ты воспевал победу. Ты проповедовал святых, от которых все отказались. Ты вдохновлял тех, кто уже умер духовно. Ты действовал так, будто за тобой армия тебе подобных, но ты был один, абсолютно один. Ты стремился совершить работу, от которой отказался целый народ. Не знаю, что тобой движет. Какой источник света в тебе горит, из какого океана “живой воды” ты пьёшь. Но ты продолжаешь сражаться, когда всё войско разбито, одна его половина полегла, а другая сдалась в плен. Кто тебя ведёт, не даёт упасть?

— Вера в Чудо. В Русское Чудо. В то неизбежное, божественное, неизреченное, что таится в русском народе, ради чего наш народ был создан Господом и выпущен на просторы всемирной истории. Мы должны были множество раз погибнуть, кануть в чёрную пропасть, стать добычей других народов. Но каждый раз восставали из пропасти, ибо народ, погибая, берегал чудотворную золотую икону. И она спасала народ, который шёл за ней крестным ходом. Вся русская история — это крестный ход, которым идём, неся перед собой райскую золотую икону. Она не даёт нам пропасть, выводит из огней и потоков. Ибо нам суждено — не теперь, не завтра, — но построить Райское Царство, создать земной рай, поселить в нём другие народы, преодолеть чудовищное расторжение, одолеть зло и ненависть, сделать мир прозрачным для света. Чудо — не исторический фактор. Чудо действует вопреки истории. Чудо — это прямое вмешательство Бога в земную жизнь. В жизнь русского народа, к которому Господь благоволит, не даёт пропасть, посылает дальше по тернистой дороге в Рай. Чудо — это моментальное преобразование зла в добро, уныния в радость, поражения в победу. Я верю в Чудо, знаю, что оно неизбежно. Как могу, его приближаю.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

...Теперь Бекетов отправлялся с визитом к председателю националистической партии “Русский закон” Валентину Коростылёву, чтобы побудить его пополнить своим националистическим воинством шестые оппозиции, которое предполагалось в конце зимы. Бекетов надел под рубаху миниатюрный диктофон, ещё не понимая до конца, зачем ему пригодится запись предстоящей беседы.

Штаб-квартира партии размещалась в неказистом доме в районе Сокольников. Во дворе несколько партийцев в коротких полушубках с португееми разгребали лопатами снег. У входа стоял дежурный, в фуражке, с бородкой, напоминавший царского офицера. Он не сразу пропустил Бекетова, послал вежливого на этаж, и только когда тот принёс разрешение, пригласил Бекетова.

Партийный лидер Валентин Коростылёв принял его в просторном кабинете, где в углу на божнице стояла красно-золотая икона царских мучеников. Над головой Коростылёва красовался деревянный, инкрустированный

серебром и перламутром герб Российской империи. Коростылёв, худощавый, широкий в плечах и узкий в талии, в чёрной рубахе, привстал и, не подавая руки, пригласил Бекетова сесть в кресло. Лицо Коростылёва было бледно, с золотистыми усами и бородкой, и напоминало лицо последнего государя. На этом спокойном лице светились серые внимательные глаза, которые осмотрели Бекетова с холодным отчуждением. Невраждебно, а отстранённо, как постороннего и чужого.

— Мне говорили, господин Бекетов, что вы попали в опалу и были удалены из Кремля. Судьба царедворцев изменчива, а нрав монархов капризен, — в этих словах не было иронии, не было сочувствия, а только изысканный холод и аристократическая вычурность.

— В трудные для государства минуты государь раскаивается в содеянном, вызывает опального вельможу из далёкого поместья, и у русского войска появляется полководец, который гонит Наполеона до Парижа.

— Вы хотите сказать, что французы уже взяли Смоленск? — тонко улыбнулся Коростылёв, которому нравились иносказания.

— В каком-то смысле французы окружили Кремль. Но, поверьте, мой случай ничем не напоминает Кутузова. Я явился из опалы не по зову Чегоданова, а по собственной воле, чтобы, в меру сил, способствовать спасению страны. Победа Чегоданова на выборах — это гибель России.

— Мне странно вас слышать, господин Бекетов. До этого времени всё, что вы делали, способствовало укреплению Чегоданова. Ваше усердие в подавлении русских националистов хорошо известно. Вы сейчас пришли к тому, кого открыто называли “русским фашистом”. К тому, чьих товарищей по партии судили по закону об экстремизме и давали немалые сроки.

— Не стану вам говорить, скольких ваших товарищей я уберёг от ареста. Но вы должны знать, что это я предупредил ваших соратников об обыске в помещении партии, где вы хранили целый арсенал, и вы успели его убрать. Это я убедил известного вам банкира оказывать партии помощь, и он передавал и продолжает передавать вам деньги.

— В самом деле? — Коростылёв приподнял золотистую бровь. — Что же вас побуждало так действовать?

— Я понимал, что в России должна быть партия русских националистов, которая отстаивает интересы самого большого и самого угнетённого народа — русских. Вы знаете не хуже меня, что самым мучительным страданием является сознание того, что гибнет твой народ. Это ни с чем не сравнимо.

— Это так, — произнёс Коростылёв. — Господь придумал для человека множество мучений, но мучение русского, сознающего, что его великий народ гибнет под беспощадным игом, — это страшная мука. Что вас ко мне привело?

— Желание искупить вину. Желание восполнить нанесённые траты. Я до последнего верил, что судьба России — это имперская судьба. А миссия русского народа — созидание империи. Я надеялся, что Чегоданов — имперский правитель, и он поставит перед русскими имперскую задачу. Вернёт русским вековую имперскую работу, в которой русские обретали своё божественное предназначение. Совершали великие деяния, создавали бесценные творения, одерживали невиданные победы. В этих победах крепили, захватывали в поле своей имперской цивилизации другие народы, обеспечивая им цветение. Я обманулся в своих ожиданиях. Чегоданов оказался глух к мессианским идеям. Он оказался властолюбивым стяжателем, в котором так и не родился русский вождь и правитель. Он отдал русский народ в рабство еврейским олигархам и кавказским разбойникам. Отнял у русских их земли, недра, природные богатства, погасил веру, опоил водкой, отсек от культуры, от исторической памяти. Это привело к одичанию, тупой покорности, стремительному вымиранию. Имперская идея, в которую я верил, увы, в правление Чегоданова рухнула. И единственное спасение народа — это национализм. Вы видите перед собой русского националиста, проделавшего мучительный путь эволюции. Я пришёл к вам, как приходит к отцу блудный сын.

Коростылёв был бледен, словно вся кровь отхлынула в сердце, где спеклась в огненный уголь.

— Вы не правы! Империя жива! Буто́н империи не умер, и он раскроет свои пламенные лепестки. Цветок империи расцветет между трёх океанов! Те, кто называет себя русскими националистами и при этом готовы отказаться от Кавказа, татарского Поволжья, от Сибири и Дальнего Востока — это предатели русской идеи! Предатели великой православной Империи! — Коростылёв огненно взглянул на образ и страстно перекрестился. — Русские сбросят иго еврейских банкиров и кавказских разбойников и установят русскую диктатуру! Своей возрождённой волей, своей вспыхнувшей верой, своим единым порывом, воплощённым в вожде, восстановят империю!

На скулах Коростылёва загорелись два маленьких малиновых пятнышка. Золотая борода и усы стали похожи на раскалённый слиток. В серых глазах сверкала яростная стальная жестокость.

— Меч русской диктатуры будет ужасен для всех, кто мучил русский народ. Мы обнародуем все зверские виды насилия, какими были умерщвлены русские новомученики, крестьяне, священники, русские поэты и инженеры. И воспроизведём эти виды казней по отношению к нашим мучителям!

Бекетов чувствовал, как воздух вокруг Коростылёва обретает вид раскалённого вихря. Этот вихрь втягивает в себя все океанские муки, все лютые глумления, все кровавое прошлое и отвратное настоящее. Превращает эти русские муки в слепую беспощадную ненависть, в ярость возмездия. И он сам, Бекетов, преисполнен этой священной яростью, этой праведной ненавистью.

Бекетов чувствовал, как его захватывает раскалённый вихрь ненависти, скручивает в тугую спираль, которая распрямится со свистом и ударит разящей сталью в ненавистных врагов. И опять запылают дворцы, чёрные толпы хлынут в усадьбы Рублёвки, и откроют свой зев сотни Ганиных ям. Он пережил потрясение: воздух стал красным, словно молекулы воздуха наполнились кровью. Овладел собой.

— Вы правы, но прежде чем установить диктатуру, нужно взять власть. Как вы возьмёте власть?

— У нас есть организация. Есть отделения в регионах. Есть боевое крыло. Есть политики, установившие отношения с родственными партиями в Европе. Есть банки, которые нас финансируют. Наша партия — это структура, готовая превратиться в государственную власть, — по лицу Коростылёва пробежала судорога, словно он передёрнул затвор.

— Но власть не дается даром. Её надо брать. Помимо вас существует много охотников, стремящихся в Кремль. Например, Градобоев. Или Мумакин. Или Лангустов. Или Шахес. Все они метят в Кремль.

Коростылёв зло рассмеялся:

— Вы думаете, в священных кремлевских палатах есть место этому фальшивомонетчику Градобоеву, которого вырастили в колбе ЦРУ и похоронят на Арлингтонском кладбище? Или этому певцу мужеложства Лангустову, которого застали в объятиях большого фиолетового негра на берегу Гудзона? Или этому еврейскому провизору Шахесу, внучатому племяннику начальника КарПАГа, который обливал на морозе водой русских профессоров и поэтов?

Диктофон сквозь рубаху Бекетова бесшумно глотал ядовитые комочки слов. Бекетова поражала та злая неприязнь, которую испытывали друг к другу лидеры оппозиции.

— Быть может, вы правы относительно расстрельной стенки, но остаётся проблема захвата власти, — Бекетов владел собой, не позволяя вихрям ненависти вовлечь его в разрушительное слепое кружение. Коростылёв, охваченный ненавистью, был открыт для внушения, — Сейчас наступает момент, когда русские патриоты могут взять власть. Идёт вулканическое извержение, и Москву заливают лава. Она подступает к стенам Кремля. Когда накануне выборов на улицы выйдет полмиллиона и пойдёт на Кремль, Чегоданов и этот временщик Стоцкий в панике убегут. Кремль окажется пустым, и его хозяином станет тот, кто первым сядет на трон. Этим первым должны быть вы.

Коростылёв замер, как замирает охотник, услышав сквозь шум леса едва уловимый свист птицы. Он разглядывал Бекетова остро и зорко, угадывая в нём лжеца, провокатора, коварного врага, засланного агента.

— В чём ваше предложение?

— Выводите своих людей на улицу. Включайтесь в общий марш своими колоннами. Увеличивайте общее число демонстрантов, чтобы оно приближалось к миллиону. Толпа пойдёт на Кремль. Перед ней будет двигаться могучая волна ненависти, от которой в ужасе разбегутся войска. Солдаты побросают щиты и каски. Кремлёвский полк станет брататься с народом. А Чегоданов улетит в вертолёте, если ему в хвост не ударит зенитная ракета.

— Вы думаете, войска не начнут стрелять?

— Американцы запретили Чегоданову стрелять в народ, пригрозив ему участью Саддама Хусейна и Каддафи. Он не отдаст приказа стрелять.

— Я это знаю! У него нет воли, потому что воля вождя питается волей народа! Народ отвернулся от Чегоданова, и тот стал пустым и лёгким, как пластиковый пакет. Народ повернулся ко мне, вручил мне свою волю, и я обрёл тяжесть стального метеорита. Я выведу моих соратников на улицу. Мы понесём наше имперское знамя и водрузим его над Кремлём. Мы сшили знамя из чистейшего шёлка и осытили на Афоне! Монахи сказали, что оно взойдёт над священным Кремлём!

Коростылёв позвонил в колокольчик, что стоял на столе. В кабинет вошёл соратник, в чёрной рубашке и чёрных штанах, заправленных в короткие сапоги. Он был в портупее, с такой же золотистой бородкой, что и Коростылёв.

— Достань имперское знамя!

Соратник раскрыл узкую высокую тумбу. Извлёк свёрнутое вокруг дровяка чёрно-бело-золотое знамя. Коростылёв распахнул окно. В комнату ворвался морозный воздух, шум города. Соратник сунул знамя в окно, стал крутить дровяк. Огромное шёлковое полотнище заволновалось, заплескалось. Чёрная, белоснежная, золотая волна одна за другой заслоняли окно. Внизу раздавались восторженные возгласы: “Слава России”. Коростылёв пламенно крестился на образ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Чегоданов принял Бекетова всё в той же гостиной с убранством брежневской эпохи, сочетавшей аскетическую строгость и тучную пышность застоя. Чегоданов был в домашней вязаной блузе и рубашке апаш. Лицо его было розовым, редкие белесые волосы ещё не совсем высохли после бассейна, и когда он обнимал Бекетова, тот почувствовал упругость натренированной мускулатуры.

— Как я рад тебя видеть, Андрей. Эта чёртова конспирация лишает меня удовольствия беседовать с тобой. Кругом одни узколобые тупицы или утомительные пустобрёхи. Каждый их совет подобен яме, куда они меня толкают. Иногда мне кажется, что все они работают на Градобоева и желают моего поражения. Но ты мне скажи, мы победим? — в его вопросе была надежда человека, который ведёт опасную, с непредсказуемым итогом игру, — Ты веришь, что мы победим?

— Это вопрос не веры, а математических знаний и магических искусств, которыми управляется толпа. Мы начали рискованную операцию, и, похоже, наш риск оправдывается.

— Да, да, ты прав. На площадях закипает революция, и Градобоев требует моей головы. Но страна отворачивается от него. Страна выбирает меня. Мне каждый день кладут на стол замеры общественных настроений. Чем больше людей в Москве размахивают дурацкими флагами, тем больше у меня сторонников в других городах России. На каждую тысячу Градобоева у меня миллион. Ты, Андрюша, великий маг и волшебник.

— Операция далеко не окончена. Нам нужно обсудить её продолжение.

— Обсудим, конечно, обсудим. Больше не с кем обсуждать. Ты мой друг, мой советник. Тебе одному доверяю. Ты же знаешь, как я одинок. Кругом дураки и изменники. Ждут, когда оступлюсь. Я страшно одинок, Андрей.

Чегоданов жаловался, исповедовался. Казалось, он боится, что Бекетов может уйти, и он снова окажется в одиночестве, среди врагов и предателей.

— Ты, Фёдор, должен окрепнуть духом, — Бекетову было больно видеть Чегоданова в момент его слабости. Он помнил его властным и неколебимым, ироничным и насмешливым, беспощадным и жестоким. Таким его полюбила страна, когда он принимал военный парад в дымящемся Грозном. Когда стоял с потрясенным лицом среди рыдающих вдов после гибели лодки. Брезгливо язвил, комментируя смерть чеченских полевых командиров. Тогда он был властным и дерзким, обещал России стремительный взлёт. Но взлёт не случился. Тяжёлая, с обломанными крыльями, махина страны осталась на взлётном поле, среди ямин и несусветных колдобин. И он, командир корабля, надолго покинул кабину.

— Ты прав! — угадал его мысли Чегоданов. — Меня опоили зельем, околдовали и одурманили... Но ты разбудил меня, Андрей. Я снова увидел Россию. Вспомнил о своём предназначении. Я посетил Патриарха и просил, чтобы он молился обо мне! Чтобы молитвы монахов окружили меня спасительным кольцом, как железным занавесом, сквозь который не проникнут чары злобного мага. Я просил Патриарха, чтобы он привёз в Россию пояс Пресвятой Богородицы, и Дева Мария защитит Россию от мирового зла. Ты часто говоришь о Чуде, которое преобразит Россию. Ты и есть Чудо, Андрюша! Ты преобразил меня! — Чегоданов вскочил, обнял Бекетова, прижался лицом к его плечу и вернулся на место. Бекетов видел, что глаза его блестят от слёз.

Бекетов подождал, когда Чегоданов овладеет собой, и произнёс:

— Теперь мы видим: наш расчёт оказался правильным. Запущенный нами двигатель будет работать. Мы станем добавлять в него топливо, и он увеличит свои обороты.

— Да, да, обороты, — вторил Чегоданов. — Ты великий конструктор. Сконструировал двигатель нашей победы!

— Мы подключим к массовым выступлениям либеральную интеллигенцию с её ядовитой энергией. Пусть она ходит по московским бульварам и читает издевательские стихи, рассказывает ужасы о твоём правлении, показывает оскорбительные карикатуры, где ты изображён в виде животного. Провинция будет видеть их носатые лица, слышать их картавые речи, и возненавидит Москву и Градобоева ещё больше.

— Продажное сучье племя! Не я ли одаривал их премиями, посылал на казённые деньги за границу, создавал им репутацию! Я ходил на их убудочные выставки, где вместо картин — груды мусора и пустых бутылок. Я приглашал их в Кремль, называя “духовными лидерами”. А они в благодарность поливают меня помоями!

— Но теперь наступил второй этап операции, — произнёс Бекетов. — Я еду в провинцию, по заводам, по оборонным предприятиям, в Сибирь, на Урал. Говорю с директорами, с рабочими, объясняю, чем грозит им “оранжевая революция” в Москве. Какой разрухой, каким ужасным повторением окаянных девяностых. Тогда громили конвейеры, лаборатории и научные школы. Рабочим по полгода не выдавали зарплату. Я буду готовить их поход на Москву. Начну собирать ополчение, как во времена Минина и Пожарского. И когда Градобоев соберёт свои двести тысяч, мы выведем три миллиона. И Градобоев убежит. Оранжевое чудовище превратится в рыжего зверька, который забьётся в норку и станет наблюдать испуганными глазами, как маршируют по Москве верные тебе батальоны.

— Поезжай, поезжай! Благословляю тебя! Наделяю тебя особыми полномочиями! Сам звоню полпредам, губернаторам, директорам предприятий! Ты — мой личный посланник!

У Чегоданова восторженно блестели глаза. Он двигался по комнате, делая гибкие повороты, как фехтовальщик, уклоняясь от разящих уколов, нанося внезапные удары. Он был прежним Чегодановым, готовым бороться, сокрушать врагов, побеждать. Был подобен русским царям и вождям, несущим бремя государственной власти. Подобен исповедникам Государства Российского.

Бекетов ликовал, видя, как возродилась воля Чегоданова, воскресла его личность, доселе дремавшая, околдованная чарами. Чегоданов был раскалённый, пылающий, это был слиток, нагретый до температуры плавления. И чтобы он не расплавился, не растёкся обжигающими ручьями, его следовало

поместить в тутоплавкую форму. Отчеканить медаль с его профилем. Превратить в эмблему Государства Российского и в таком виде внести в историю.

— Ты должен верить в своё предназначение. Чувствовать своё мессианство. Осознавать великую миссию, уготованную тебе провидением! — Бекетов зажгёт в своём сердце луч, которым касался лба Чегоданова. Проникал в сердцевину его сознания. Оставлял в глубинах его души огненный отпечаток. — Почему тебя ненавидит Америка? Почему тебя проклинает либеральный Запад? Почему тебя травят российские либералы, возводя на тебя хулу? Тебе выносят смертные приговоры кавказские сепаратисты. За тебя молятся в монастырях и приходах. Тебя славят русские патриоты. За тебя голосуют нищие крестьяне в разорённых селениях. Кто ты такой, Фёдор Чегоданов, живущий среди вспышек обожания и ненависти? Ты — воссоздатель великого Государства Российского. Для этого тебя создал Господь.

Чегоданов жадно внимал. Бекетов внушал, воздействовал, сотворял нового Чегоданова. Вкладывал в него новое сердце, встраивал новый разум, наделял новой волей. Преображённый лидер наделялся чертами великих предшественников, пополнял их блистательную когорту.

— Люби народ и бойся Бога. И будешь непобедим!

Чегоданов молчал, заворожённый. Казалось, он прислушивается, как стучит в нём новое сердце, как дышит его преобразённая плоть, как радостно трепещут его помолодевшие мускулы.

— Я раздавлю оранжевую гадину! Я подпалю шерсть на её оранжевом загривке! Это чудище превратится в оранжевого зверька, и я помещу его в зоопарк, в отдел грызунов! Градобойная машина разобьётся в щепки о Кремлёвскую стену! Они думают, что я сплю, но я проснулся! Я бодрствую, я верю: и победа будет за мной!

Эти слова Чегоданов произнёс с весёлой злостью, с жестокой уверенностью и властной непреклонностью. И Бекетов возликовал. Колокол зазвенел певучим и грозным рокотом. Крылатая машина взмыла, оставляя в небе пылающий след. Преображение Чегоданова состоялось.

— Мы победим на выборах, и навстречу их ядовитому пожару направим свой встречный пал, свой священный огонь. Навстречу их шутовской революции с бубенцами и воздушными шариками мы направим могучую революцию Русского Развития. Мы оживим оборонные заводы и станем строить самые лучшие в мире самолёты и танки, самые совершенные и неуязвимые ракеты. Мы снова наводним Мировой океан нашими кораблями, а ближний и дальний Космос засеём лабораториями и орбитальными группировками. Мы возродим великие научные центры и культурные школы. Построим великолепные города на месте сгнивших посёлков. Всколосим на полях невиданные урожаи. Мы начнём огромную работу, чтобы каждый нашёл в ней своё творческое место, и в этом Общем Деле снова ощутим своё единство и неразсторжимость. Мы обратимся к народам Евразии, тоскующим по былому единству и процветанию, и станем строить наш великолепный братский союз, сочетая пространства, народы, культуры в симфоническое единство. В нашу жизнь, в наше государственное устройство, в наши университеты, гарнизоны и семьи мы привнесём Христовы заповеди, райские смыслы, божественную справедливость, и Россия среди гибнущего, заблудшего мира снова станет светочем и надеждой народов. И это сделаю я, Чегоданов!

Бекетов внимал словам этой тронной речи. Нет, не напрасны были его упования, его великие труды и проповеди. Пробуждение Чегоданова состоялось. Рождение лидера совершилось.

Чегоданов обнял Бекетова на прощанье, и эти объятия показались Бекетову железными. И он подумал, что у России, наконец, появился негнибаемый лидер.

(Окончание следует)